

18+

АЛЕКСАНДР НОВИКОВ

**ЗАПИСКИ
УГОЛОВНОГО БАРДА**

СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

Александр Новиков
Записки уголовного барда

ИД "АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ"

2008

УДК 821.161.1-94
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-4

Новиков А. В.

Записки уголовного барда / А. В. Новиков — ИД "АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ", 2008

ISBN 978-5-6046512-9-2

Александр Новиков – поэт, певец, композитор, автор более трехсот песен и художественный руководитель Уральского Государственного театра эстрады. В 1984 году он записал свой знаменитый альбом «Вези меня, извозчик». Сразу после этого по сфабрикованному уголовному обвинению был осужден и приговорен к десяти годам лишения свободы. Прежде чем приговор был отменен Верховным судом России, а обвинение признано незаконным, Александру Новикову пришлось провести шесть лет в заключении. События, описанные в книге, охватывают этот период жизни поэта. Содержит нецензурную брань В формате PDF А4 сохранен издательский макет.

УДК 821.161.1-94
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-4

ISBN 978-5-6046512-9-2

© Новиков А. В., 2008
© ИД "АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ", 2008

Содержание

Пролог	6
Глава 1. Этап	7
Глава 2. Карантин	11
Глава 3. Мясорубка	14
Глава 4. Распределение	27
Глава 5. 101-я бригада	31
Глава 6. Отрядник	42
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Александр Новиков

Записки уголовного барда

© Новиков А.В., 2008

© ООО «Издательство «Аргументы недели», 2022

Пролог

Удивительная вещь – память. Она не умеет врать. Не носит в себе долго плохое и злое. Если не стирает совсем, то закапывает на самом дне и укрывает хорошим. Или наряжает страшное в такие наряды, что страшным это уже и не кажется. Улыбнешься, усмехнешься, нет-нет да и порадуешься, что все позади, и сам это как-то пережил. Но случись писать книгу, как, к примеру, эту, – тут уже приходится в этой самой памяти покопаться. Всего прожитого в ней не сыскать, а что и сыщешь – то как обрывки, клочки, вроде записок из далекого времени, которое она уже перекрасила в пастельные тона, сточила в нем острые углы и выдернула занозы.

Когда я записывал свой «Извозчик», конечно же и подумать не мог, что ждет впереди. Но каждый раз стоя на сцене, исполняя эту песню или еще дюжину записанных в тот же год, хоть мельком, я вспоминаю что-то из этой книги. Если просят рассказать со сцены что-нибудь интересное из прошлого, хочется вспоминать только веселое. Невеселое – тоже в шутку. Но есть и такое, что никак не становится шуткой. И как его ни крути, ни укрывай добрым, ни ряди в улыбки – не рядится. А у песен такая чудная биография: и тюрьма, и слава, и гром аплодисментов, и грохот тюремных замков, и много чего еще. Не было бы песен – не было бы этой книги, которая не только обо мне, но и о времени, застывшем в клочках записок. Память их не успела стереть или спрятать далеко-далеко.

И хоть нас с песнями уже давно не называют «уголовными», пусть будет так: «Записки уголовного барда». Ради памяти.

Александр Новиков

Глава 1. Этап

Поезд вместе со «столыпинским вагоном», в котором ехал я, прибыл на станцию Першино рано утром. Процедура разгрузки вагона была обычной, к которой я уже привык. С платформы выкрикивают твою фамилию, выскакиваешь из «купе», как приказывает конвой, и бегом несешься по коридору. В тамбуре собака с конвоиром, на перроне собак кишмя, конвоя еще больше. Нужно быстро выпрыгнуть из вагона с вещами, сесть возле него на корточках, руки за голову, вещи рядом. При этом еще до пробежки по коридору из клетушки громко и отчетливо выкрикнуть имя, отчество, год рождения, статью, срок. Ошибаться нельзя. Дальше сесть по четыре в ряд, в колонну, состоящую из таких же, выскочивших ранее. Здесь и «первоходы», и «строгачи», и «полосатики». По «воронкам» всех потом рассортируют.

Очередь дошла до меня.

– Новиков!..

– Александр Васильевич, 1953-й, 93-я прим., часть 2-я, десять лет усиленного, – прочеканил я куражно и сверхразборчиво.

– Пошел!.. – гавкнул кто-то из конвойных с перрона со среднеазиатским акцентом, и я побежал по вагонному коридору. В обеих руках «сидора», мешают, бьются о стены. Выпрыгнул и встал. На меня вытаращились все кто мог. Те, кто приехал из лагеря нас «получать», знали, что этим этапом идет Новиков. Конвой, сопровождавший нас в дороге, первым делом сообщил встречавшим об этом. Собаки рвались и захлеб лаяли, солдаты тарачили глаза. В стороне, метрах в десяти, сидела колонна.

– Руки за голову, лицом вниз! – прокричал капитан с папками в руках.

Я сел четвертым слева, руками обхватив затылок. Следующим, после точно такой же процедуры, из вагона выпрыгнул подельник Толя Собинов. Он опустился на корточки за моей спиной и проворчал свое обычное:

– Козлы. Одно и то же, блядь, чурки безмозглые.

Разгрузка шла еще минут десять. Наконец начали разгонять по «воронкам».

– «Тубиков» отдельно, их после всех. Давай «полосатых»!

«Полосатых» было двое. Один пожилой, выглядевший очень больным и слабым. Второй помоложе, поматерее.

– Давай, начальник, в натуре, вези домой, заебались по этапам гоняться...

– Сам давай, не пизди! – рявкнул капитан.

Они медленно поднялись и побрели со своими огромными котомками к ближайшему «воронку».

– Новиков!

– Я...

– В левый, быстро, на «двойку» поедешь!

– Собинов! Туда же.

«Двойка» – учреждение Н-240-2/2. Я с самого начала знал, что еду именно туда.

Дальше начали расталкивать остальных. Поднялся ор, лай, сплошной мат.

– Быстро, блядь, по одному, бегом к автозаку! Вправо, влево – сами знаете! Бегом, быстро! Давай, пошел! Пошел! Пошел, сука!

Через пять минут набили до отказа и поехали. Автозак, в котором ехал я, оказался относительно свободным. От силы человек десять. Можно было даже закурить. Закурили. Дымом потянуло в кабину.

– Э, ну-ка быстро потушили! – крикнул через решетку окошка конвойный.

– Да никто не курит, гражданин начальник, это с улицы, в натуре, тебе потянуло! – сказал Толя, и все заржали.

– Давай не блятуй! – беззлобно и лениво огрызнулся конвойный с тем же азербайджанским акцентом. И все опять заржали.

– Да-а... Что еще за зона эта «двойка», говорят, «красная», – начал разговор кто-то из сидящих рядом.

– У меня подельник по первой ходке был здесь. Завхозы и бригадиры рулят. Козлота, короче, заправляет, – отвечал другой.

– Да сейчас везде на усиленном так. С карантина, говорят, в СПП заставляют вступать. Кто не хочет, того, короче, на прямые работы, на разделку. А «козлам» – послабуха.

– Да ну на хуй! Это все ментовские прокладухи. Вступил в СПП, напялил ландух, поначалу, может, полегче работу дадут. А за первый же косяк на разделку загонят. А ты уже закозлил. И что дальше делать? Не, я вступать никуда не буду. Да никто не будет, – неожиданно повернулся он ко мне и добавил: – Тебя-то, Санек, они фаловать сильнее всех будут. Бля буду, у них такая команда есть. К тебе братва прислушивается, а им это как кость в горле.

– Они тебе будут обезличку делать, с первого дня прессовать начнут. На тюрьме прессовали и здесь будут.

Я молча кивнул головой. Думал я сейчас не об этом. А о том, что позади всего два года, а впереди еще целых восемь лет. И жизнь свою здесь придется строить заново и надолго. Выбраться досрочно вряд ли удастся, а потому готовиться надо к самому худшему. Помощи с воли тоже не будет. Маша с двумя детьми еле концы с концами сводит. Большинство знакомых разбежались кто куда. Телефон дома молчит. А из каждой второй машины, из каждой общаги, из каждого кабака звучит «Вези меня, извозчик». Вся страна слушает и поет, а мне за него еще долгих восемь лет.

– Подельник говорил, что зона голодная, петухов на зоне человек 500, не меньше.

– А всего сколько на зоне?

– Две с половиной тыщи.

– Каждый пятый, что ль?

– Да.

– Да ты погнал.

– За что купил, за то продаю.

– Эх, сейчас бы раскумариться... Начальник, подгони на заварочку.

В решетку ткнулось лицо конвойного:

– Сейчас, белят, приедем, я тебе раскумарю!

– Ну, ты в натуре жутегон!

И все заржали снова.

– Сейчас приедем, ваш пьевец на карцер пайдет с тобой. Будете дваема напара петь, ха-ха! – развеселился конвойный.

– Ага, а ты плясать на самотыке вприсядку, – вполголоса ответил ростовским говором тот, что сидел напротив меня.

– Щьто ты сказал?

– Да ничего. Я говорю, гражданин начальник, кто две лычки на погонах носит, тот на зоне самый блатной!

И все заржали вместе с конвойным.

Так, за неторопливой беседой, вперемешку с пререканиями, «воронок» наш въехал в зону. К самому началу начал – на вахту.

Ждать пришлось недолго. Пришел ДПНК, и началась высадка новобранцев.

Открылась дверь, всем приказали выходить и строиться возле машины.

Перед нами стоял стройный, среднего роста капитан с папками личных дел в руках. Он был весь как на шарнирах, переминался с ноги на ногу и, поигрывая сигаретой, зажатой между пальцами, приветствовал нас бодро и весьма своеобразно:

– Ну, здорово, блядь, мужики! Я сейчас буду вас выкликивать, отвечайте как положено. Я – ДПНК, зовут меня капитан Панков, погоняло у меня «Блатной», для тех, кто не знает. Блатней меня тут только хозяин и медведь. Навидался я всяких, так что блатовать при мне не советую. Ясно? Короче, мне все по хую, чуть что – сразу в трюм. Жаловаться на меня бесполезно. Лучше договариваться по-хорошему. Короче, посидите – поймете. Уяснили?

При этом через каждые два-три слова он вставлял еще более отборную матерщину. Но, несмотря на всю его «блатату» и грозность речей, было видно, что человек он не злой. Просто играл как в каком-то диком театре свою роль.

Он говорил с блатным акцентом, криво улыбаясь и помогая себе очень выразительной распальцовкой. Кроме этого, находился либо в легком подпитии, либо с перепоя. Румянец на щеках и повышенные тона явно указывали на это.

– Новиков!

– Я, Александр Васильевич, тысяча девятьсот пятьдесят третий...

– Да знаю, бля. Тут тебя уже давно ждут. Я тоже иногда твои песни пою, по пьяни, ха-ха-ха! И я тоже Александр. Сашка Блатной меня зовут, понял? Но блатовать могу здесь только один я. Понял, нет?

Он красовался и рисовался перед конвойными, которые подобострастно на все его перлы кивали головами.

– В отличие от этих чурок я, блядь, по этой жизни все понимаю. Я-то здесь вырос. А эти отслужили и опять к себе урюком торговать поедут. Правильно я говорю?! – повернулся он в сторону конвоя.

– Так тощна, товарищ капитан!

– То-то, бляди.

После этого он выкликнул оставшихся и скомандовал:

– А сейчас на шмон и в отстойник. Потом вас всех переведут в карантин. А оттуда уже кого куда. Ясно? То-то.

На шмоне, к моему удивлению, у нас ничего не отняли. Просто вещи вольного образца, как то – шапку, дубленку и кроссовки заставили сдать в каптерку на хранение. Сколько времени провели мы в отстойнике, уже не помню. Помню только, что постоянно заглядывали к нам незнакомые люди в форме. По каким-то формальным предлогам, но было ясно, что приходили поглазеть на меня: что же это за диковина такая – Новиков, из-за которого столько шума и беготни?

После формальных процедур наконец «подняли на зону».

Всех повели в карантин. Карантином был отдельный барак в самом конце зоны, рядом со столовой. Как и остальные бараки, он был обнесен локалкой. Калитка была на электрозамке, возле которой стоял «черт» и открывал строго по распоряжению завхоза или, на худой конец, шныря. В центре двора – бочка с водой на платформе-тележке, точно такая же, как в фильме «Кавказская пленница», на которой Шурик с шофером Эдиком бросаются в погоню за Ниной, Трусом, Балбесом и Бывалым из дома товарища Саахова. Только покрашенная в голубой цвет и размерами побольше. В зоне не было водопровода, и пара «чертей» таскала эту бочку через всю лежневку, как пара гнедых. Единственное их достоинство было в том, что они были не пидоры – пидорам и опущенным возить воду и трогать продукты в лагере запрещено. В остальном это были полуголодные, драные, замордованные люди, с безумной тоской в погасших глазах.

«М-да, веселенькая зона», – подумал я.

Все, что я раньше слышал об этом лагере, начинало приобретать реальные очертания и походить на правду.

На календаре была весна. Апрель месяц, а весной здесь и не пахло. Небо было свинцового цвета. Солнце ненадолго появлялось и снова исчезало до следующего полудня. Ветер дул несильный, но какой-то леденящий и пронизывающий... Вокруг – болота, оттаивающие на

несколько месяцев лета, после которых – опять мерзлота. Вечная мерзлота, на глубине чуть больше метра. Но сейчас я еще этого не знал. Сейчас я молча смотрел на эту пару людей, запрягающихся в телегу и по-бурлацки бредущих за водой. Ее мне с сегодняшнего дня предстояло пить.

Глава 2. Карантин

Двор карантина, обнесенный забором из железных штырей, был полностью вымощен досками, меж которыми не было ни сантиметра живой земли. Как и вся жилзона, он стоял на слоях бревен, которые настилали рядами, а затем сверху обшивали досками. Лагерь ютился на болотине, поэтому весной, когда болото оттаивало, сквозь доски проступала вода, и тогда снова клали бревна, и снова поверх них набивали доски. Иногда это делали каждый год, иногда через два. Слои тонули в топи, у которой, казалось, нет дна. Ходили слухи, что с момента основания лагеря толщина этого жуткого пласта дошла до 10 метров. Вполне возможно, что за 50 лет так и было. Центральная улица – «лежневка», прямая как стрела, названием своим, вероятно, происходила от «лежащих в виде настила бревен». Лесные лагеря основывались либо на болотах, либо в непролазной чаще. Начиналось все, как в обычном городе, – с центральной улицы. Асфальта и камня не было, а чтобы «тротуар» был ровным, единственным выходом было мостить его бревнами. В углу карантинного двора стоял деревянный сортир размером с большой сарай. Вонючий и крашенный известкой. Рядом – вросшая в бревенчатый панцирь пара берез. Со стороны казалось, что растут они прямо из бревен. Весна еще не пришла, и поэтому были они голы и на вид давно отсохшие.

Двор был всегда полон народу, который по двое, по трое тусовался туда-сюда. Устраивал «терки». Кто курил, кто стоял в очередь заварить банку кипятку самодельным кипятильником. В бараке розетки не было, и все в целях пожарной безопасности было перенесено во двор. Да и потому, что народу проживало больше сотни человек – протолкнуться и так негде. Для этого на улице стоял столб, вдоль которого был прилажен провод, деревянная площадка и две оголенные розетки.

Кипятильники были зонной конструкции. Две металлические пластины, между ними по краям тонкие дощечки или текстолитовые планочки. Все это обмотано для скрепления нитками. Расстояние между пластинами чуть меньше полусантиметра. В каждой с краю дырочка, в нее просунут и закручен провод. Что-то типа двух электродов. Другие два конца – голые, почерневшие. Их втыкали в контакты оголенной розетки, а сам кипятильник – в банку с водой. Две-три минуты – и вода закипает. Далее – кто чего желает: кто – чифир, кто – «купец», кто – кисель.

По инструкции эти приспособления были строго запрещены, но начальство на такие мелочи закрывало глаза. Во-первых, всегда холодно. Во-вторых, всегда тесно. Водопровода нет, горячей воды нет, ни хрена нет. Поэтому, чтобы не жаловались лишний раз и не писали прокурору, на всё это смотрели сквозь пальцы. Правда, перед прокурорской проверкой из областного центра провода обрывали, водовозные телеги с бочками прятали, опущенным запрещалось даже нос высовывать. По всей лежневке, напротив каждого барака, которые тоже были обнесены стальными заборами и имели точно такие же дворы, выставляли активистов с синими «ландухами» на рукаве. На «ландухе» было белыми большими буквами выведено – «СПП». «Совет профилактики правонарушений». Лагерная мелкая «козлота». Состоял совет в основном из пидоров и опущенных. Были и состоящие в нем формально, даже кое-кто из бригадиров, завхозов и просто поверившие начальству, что благодаря этому членству можно освободиться досрочно. Были, конечно, всякие. Но вдоль лежневки стояли в основном пидоры. Те, которые чистили сортир, двор и убирали барак. Этим было уже ничто не запахло. Да их никто и не спрашивал. Альтернатива простая – или на лежневку, или отпинают все внутренности. И не дай бог пожалуешься приехавшему прокурору. Прокурор уедет, а всех жалобщиков начальство загонит в «трюм» без вывода на работу. А там – вообще петля. По выходу же из трюма в бараке ждет другой суд. Завхозу и бригадиру от начальства за жалобу влетит, поэтому бить будут беспощадно. После этого даже просто выжить – большая проблема.

В карантин мы шагали без особого энтузиазма, но порядок есть порядок. Вместе со всем прибывшим этапом ввалились в этот самый двор и прошли в барак.

Встретил нас завхоз по фамилии Чистов, по кличке – «Кит». Дядька в годах, очень приветливый и радушный. Он уже знал, кто я и кто со мной – в лагере новости разносятся мгновенно. Место в бараке он мне определил несравненно лучшее, нежели другим, – в самом дальнем конце. Здесь как и в тюрьме: чем дальше от дверей, тем козырней.

Бросили на койки матрасы, распахали барахло по ящикам. Сидим, потихоньку осматриваемся. Входит Чистов.

– Здорово, мужики. Наслышан, наслышан. Александр, чего сидите, заходите ко мне, чайку попьем. Расскажите, чего хоть в мире делается.

Жил он в отдельной комнатухе – очень большая по лагерным меркам привилегия. У него была плитка, посуда, телевизор. Кровать с панцирной сеткой. Для лагеря тех времен – довольно круто. Было видно, что в глазах лагерного начальства он фигура заметная. Да и просидел уже больше 10 лет. Этот знал про лагерь все.

Заходим, садимся. Лагерь штука коварная. Всегда надо присмотреться. Тем более мы в лагере первый раз. Тюрьма – тюрьмой, а лагерь – совсем другое. Следственный изолятор – это, если так можно сказать, подготовительные курсы. А здесь уже все по-настоящему – другой мир. Со своими законами, традициями, жесткой иерархией и подводными течениями, которых тот, кто не сидел, никогда не разберет, не поймет, и, случись попасть сюда прямо с воли, может наступить на такие грабли, которые перечеркнут всю его лагерную биографию.

Чистов как опытейший экз, отсидевший долгий срок, тоже осторожничал и в разговоре начал тонко прощупывать, кто мы и что у нас на уме. Характер, материальное обеспечение, профессия, бойцовские навыки. В лагере нет мелочей. А уж эти вещи тем более важны.

Более всего интересовал его, конечно, я. Толю он спрашивал как будто из вежливости. Но и в его ответах он пытался уловить то, что на словах не говорится.

– Как добрались-то? Этапом много вас пришло?

Он прекрасно и одним из первых знал, сколько нас пришло – на то здесь и посажен. То, что он напрямую работает со штабом, объяснять нам было не надо, но не говорить ничего о себе было нельзя. Нужно было заводить знакомства, связи. Иметь хотя бы первое представление о том, каков этот лагерь. Поэтому беседа завязывалась поначалу «о погоде».

– Человек десять, – ответил я.

– Вы оба из Свердловска?

– Нет, Толя из Уфы.

– Короче, мужики, я вам объясню, как себя вести, что за зона. Что можно, что нельзя. Вы, главное, пока никуда не лезьте, присмотритесь. Что непонятно – спрашивайте у меня.

– Да мы не лезем. Сколько нам здесь в карантине сидеть?

– Неделю, может, две. Сейчас ваши личные дела пробивают. Потом будет распределение по бригадам. Профессии какие есть? Права есть? Может, корочки электрика, тракториста?

– Нет, откуда, – улыбнулись мы.

– Жаль, без профессии всех гонят на прямые работы, на разделку. Но тебя, Александр, наверное, в клуб заберут. В клуб пошел бы? Будут фаловать в СПП – не соглашайся. Скажи, мол, поживу, осмотрюсь, потом решу. В быковую не отказывайся. На распределении все кумовья сидят, хозяин, зам. по РОР и отрядники. От них все и зависит.

– А где хуже всего?

– Хуже всего в 101-й бригаде и в лесоцехе. Там, если захотят, любого за месяц уморят.

– А лучше всего?

– Везде хуево. В жилзоне, конечно, получше: библиотекарем, нарядчиком, завклубом, в ПТУ кем-нибудь... Ты ж не пойдешь шнырем? – сказал он и, улыбаясь, посмотрел мне в глаза.

– Нет, конечно.

– Да, шныревкой – тут желающих до хрена и больше. Как зима настает, мороз минус пятьдесят, так тут ломаются и в шныри, и в водовозы, лишь бы в тепло. Лишь бы выжить.

– Я, в общем-то, слышал.

– Ты такого, Санек, не слышал. Это страшная зона.

Он вдруг замолчал, поднял на меня глаза и прямо в упор повторил уже совершенно другим тоном:

– Страшная...

Пробежал холод, и на душе стало тоскливо и тревожно. Теперь это надолго. И по-настоящему. Это уже не из рассказов Варлама Шаламова и Солженицына. Это все теперь «в натуре на собственной шкуре». Восемь лет... И надо выжить. И не просто выжить – прожить достойно. А главное – выйти. Хотя до этого еще ой как далеко.

Чистов прочитал мои мысли. В лагере все, кто просидел больше пяти лет, читают по глазам и по таким мелочам, которых на воле просто не замечают. Мы молчали.

– Курите, мужики. – Чистов пошарил по карманам, выложил на стол пачку сигарет с фильтром и начал рассказывать.

Глава 3. Мясорубка

Эта зона всегда негласно называлась «мясорубка». Сюда мутноголовых, тяжелостатейников со всей страны свозили. Сейчас, правда, уже не то, что десять лет назад. Но я еще застал. Раньше шесть лет здесь самый малый срок был – в основном от десяти до пятнадцати. Я застал еще людей – четвертаки добивали. Раньше полный беспредел был: то черная зона, то красная. Резня, поножовщина, бунты. Сейчас другой беспредел. Сами скоро увидите. Людей тут ломают как спички. На моем веку такие росوماхи были, по полсрока, по десять лет блатовали, а на одиннадцатый – вдруг в пидорах оказывались. Вон, Коля Фиксатый червонец отмотал, с блатными весь срок откантовался. А потом в карты проигрался в хлам. Ответить не смог, расчитаться тоже. Опустили. Так с петухами срок и добивал. Здесь хуй кто поможет. За карты, мужики, не беритесь – дохлый номер.

Да что – Фиксатый... Были еще. Один, не помню кликуху, проиграл – ему постановку сделали, так он, короче, в запретку ломанулся. Его с вышки чурка застрелил. Одно, в натуре, хорошо – мужиком активировался. Да это место тут рядом. Старики его еще помнят.

– А ты сам-то за что? – спросил я, – срок-то у тебя немалый.

– Да-а, это дело мутное. Короче, потом как-нибудь расскажу. По приговору – одно, а в натуре – совсем другое. Давай вечером заходи, после отбоя, посидим, поговорим. Я тебе кое-что посоветую. С бригадами перетру кой чево. А пока пойду, мне тут надо в одно место, ручки шлифануть.

Мы встали и вместе с ним вышли во двор. Во дворе была сцена.

– Ты, крыса ебаная, заворачивай плавней, разольешь всю воду, сука!..

Шнырь подлетел к въезжавшей во двор бочке с водой и с размаху несколько раз ударил по загривку одного из водовозов. Тот покорно съежился и после каждого удара повторял:

– Серега, прости, все понял... Прости, все понял...

– Давай, пошла, крыса! – крикнул шнырь и, повернувшись к стоящему у входа в локалку, добавил: – А ты что ебало разинула, гидра?! Давай на скороту ворота закрывай, животное!

Тот бросился бегом.

Шнырь определенно рисовался перед завхозом Чистовым. Рыл землю копытами. Шныревая должность в лагере считалась в некоторой степени «западловой», и его могли в любой момент за провинность списать на прямые работы – обычно в лесопех или на разделку. А там обязательно ждало самое тяжелое рабочее место. Мужики его к себе близко не подпускали. С пидорами тоже никак нельзя. Поэтому, как на фронте, приходилось искупать неудавшееся шныреводство кровью и ударным трудом. Некоторым, правда, удавалось вернуться на прежнее место. Обычно это бывало, если на свидание привозили хороший грев и пару сотен рублей. Грев завозился через бригадира, деньги – тоже. У него они и оставались.

А платой за это было ходатайство перед отрядником о том, что человек исправился и что шнырем, мол, был незаменимым. Бригадир делился гревом с завхозом, завхоз – с отрядником, и вопрос решался. Проще говоря, завхоз и бригадир – самая важная пара при решении любого вопроса. Отрядники многого не знали. А если и знали, то, конечно же, с их слов. Потому все кадровые назначения производились по мнению этой лагерной элиты. Шнырем в зоне человек становился всего один раз. Дальше ему постоянно приходилось рвать когти, гонять пидоров на чистку сортира, стучать, шарить и докладывать о том, что услышал и увидел: у кого деньги после свиданки, кто жалобу по ночам пишет, кто кого имеет, кто на кого зуб точит. И, разумеется, насмерть хранить бригадировы и завхозовы тайны. Тайны, иногда превеликие и страшные. Которые, если и рассекречивались, всегда сопровождались крушениями человеческих судеб и лагерных биографий.

Бывали, конечно, более или менее приличные и порядочные по лагерным меркам шныри, но редко, да и то где-нибудь и когда-нибудь...

Телега с бочкой наконец въехала во двор и остановилась в центре. Конструкция этого транспорта позволяла хорошую маневренность и легкость в управлении. Просто до гениальности. Низкая платформа, к переднему краю которой приделана оглобля, заканчивающаяся поперечиной – большой буквой «Т». С каждой стороны оглобли становился человек, руками держа свою половину поперечины и налегая грудью, тянул всю телегу, посреди которой стояла огромная бочка. Никакой упряжи. Быстро запряглись, быстро распряглись. Живая картина «Бурлаки на Волге». К моему удивлению, никто не обратил на эту сцену ни малейшего внимания.

Тихо подошел вечер. Я сидел на кровати, перебирал свои пожитки, когда в барак вошел крепкий и довольно рослый парень, огляделся и направился прямо ко мне. Одет он был в черные брюки, черную куртку незоновского образца, под которой была тельняшка десантника. Вместо сапог на нем были какие-то ботинки непонятного производства.

Весь лагерь, за малым исключением, был одет в сапоги, поэтому такая форма одежды сразу же бросилась в глаза. А уж тельняшка – тем более.

Он подошел ко мне и спросил просто:

– Ты – Новиков?

– Я.

– Давай познакомимся. Меня зовут Мустафа. Марат Мустафин. А так, для всех – Мустафа. Я здесь в клубе библиотекарем. Выйдем на улицу, – сказал он и многозначительно обвел глазами барак.

Мы вышли. Мустафа не курил, и по его телосложению и рукам было видно, что он более тяготеет к спорту, к кулачному бою, нежели к вредным привычкам. Тельняшка ему очень шла. А кроме всего, она красноречиво говорила о его немалых лагерных привилегиях и иерархическом положении.

– Как устроился? Как Чистов встретил?

– В общем-то, хорошо.

– Ты с ним сильно не откровенничай. Он крученный. В общем-то, мужик неплохой, но мало ли...

– Да я особо ничем и не делился.

– Я с ним сейчас поговорю, чтоб после проверки тебя втихаря в клуб отпустил. Там спокойно. Если сейчас пойдешь – сдадут вмиг. Тут все сдается. Ползоны на штаб работает. Мне тоже кое в чем приходится, но по другой части. Я никого не сдаю – мне не нужно. Короче, вечером встретимся, все расскажу.

– А ты сам откуда? – поинтересовался я.

– Из Верх-Нейвинска. Закрытый город, ты, наверняка, знаешь.

– Даже бывал не раз.

– У нас с тобой общие знакомые есть.

– А кто?

– Потом. Давай долго тусоваться не будем, а то до штаба слух раньше времени дойдет. За тобой пасут. Я сейчас на минутку к Чистову забегу, договорюсь, а вечером, как стемнеет, за тобой приду.

Он повернулся и быстро вбежал по ступеням в барак.

Через несколько минут вышел, довольно улыбаясь. По пути кивнул мне – все в порядке.

На проверку вся зона, две с половиной тысячи человек, выходила поотрядно от своих бараков строем по четыре в ряд. Вначале толпились во дворе. Затем всех пересчитывали. Если количество не сходилось, шнырь бегал, искал. За баракom, в сортире, под лестницей, под кроватями, на кроватях. Отряд – сотня человек, а то и более, в это время стоял и ждал. Если

присутствовал начальник отряда, за опоздание можно было тут же угодить в карцер. Прямо с проверки. Если все сходилось, ворота распахивали настежь, отряд выходил на лежневку и строем шагал на плац.

Карантин на проверку не ходил и поэтому наблюдал за всем шествием сквозь прутья забора.

Первыми в строю шли «петухи» и «черти», застегнутые на все пуговицы, строго по четыре в ряд – не дай бог сбиться. Их было видно сразу: драные, грязные, некоторые разукрашенные фингалами. Далее – чертоватые мужики, потом – просто мужики. И в самом конце – блатные. Мужики – так-сяк. Блатные – в расстегнутых телогрейках, руки втянуты в рукава, вразной в конце строя. С шутками, прибаутками, с сигаретами в ладони. А кто и вовсе – в зубах. Фуражки особого покроя, высокие, держащие форму, с козырьками. От тех казенных, что выдавались в каптерке и которые положено было носить, они отличались как небо и земля. В казенные были одеты только петухи и черти. Называлась такая фуражка по-лагерному «пидоркой». Должен сказать – не зря. На кого ни надень – именно таким он сразу и покажется. Не припомню на своем веку ни одного головного убора, который бы так скотинил человека. К слову сказать, «пидоркой» он зовется во всех лагерях страны и по сегодняшний день. Устоявшееся, обычное название, такое же, как на воле – «шапка». Поэтому все, кто имел возможность, шили фуражки втихую на заказ. Начальство их иногда снимало, но в основном с тех, к кому нужно было придраться. А большей частью закрывало на все глаза.

Первые ряды шли в «пидорках», натянутых на лоб. Последние – в закинутых на затылок фуражках, которые, кстати, тоже назывались «пидорками». Но уже с другой интонацией. На воле так носят фуражки дембеля, когда едут после службы домой – куражно, небрежно и торжественно.

Время сапогами, отряд за отрядом тащился на плац, со стороны которого доносился звук незнакомого марша в исполнении лагерного духового оркестра. Точнее, чего-то, отдаленно напоминающего духовой оркестр из моего раннего детства, состоящий из только что записавшихся в духовой кружок дворца пионеров. На слух казался группой из трех, может быть, четырех инструментов – большого барабана, баритона, трубы и еще чего-то. Как только он «грянул», я почему-то вспомнил песню «Похороны Абрама», и как живые предстали перед глазами все участники той записи 1984 года – сводный оркестр с двух кладбищ города Свердловска. Однако по сравнению с теперешней четверкой те были просто Большим Лондонским оркестром. Virtuозами с абсолютным слухом. Потому что эти играли такую какофонию, от которой можно было не только «получить рак уха», но и облысеть. «Оркестр Дюка Эллингтона, перекусанный энцефалитными клещами» – классифицировал я для окружающих этот неординарный коллектив. Впоследствии при визуальном знакомстве все оказалось еще хуже.

Когда за поворотом скрылся последний строй, в той части лагеря, где был наш карантин, стало необычайно тихо. Двое в форме пересчитали нас по головам и удалились.

На мир спустилась вечерняя тишина. Я вдруг вспомнил фильм «Калина красная». «Вечерний звон, вечерний звон...» Вот оно откуда. Как точно эта мелодия, эта песня передает настроение, которое накатывает только в неволе. Эту бездонную грусть, тревогу, предчувствие беды, сквозь которое стреляет молния дикого желания вырваться отсюда.

А как? Никак. Может быть, чуть пораньше?.. Может – не до звонка?.. Ах, воля, воля, все отдал бы.

«...Как много дум наводит он...»

Вот они идут строем. Все разные. Все расставлены по своим ступеням. Кем на воле были и кем здесь стали? Ходили, бегали, пили, хохотали, разбойничали, грабили, воровали, убивали... Бравые, легкомысленные, неуловимые. И вдруг угодили сюда. В «мясорубку». А здесь все по-другому. Здесь предстоит рассортироваться. Лестница жестокая. На ней или стоять на занятой ступени, или подниматься вверх. Стараться подниматься. Или просто стараться сто-

ять. Желаящих сбить тебя с этой ступени будет много. И каждый час, каждый миг надо стоять. Шаг вниз – и начнут сталкивать еще ниже. Тогда держись хотя бы за эту. Потому что следующая будет еще хуже. И удержаться на ней еще труднее. Чем дальше вниз – тем быстрее. Чем быстрее – тем труднее держаться. А внизу – «курятник». Черти, петухи, пидоры. Внизу – лагерный ад.

«...Как много дум наводит он...»

Я ходил по двору из конца в конец молча и бессмысленно, думая сразу о многом, дожидаясь, когда же, наконец, закончится проверка. Чтобы встретиться с Мустафой, чтобы иметь хоть какую-то ясность и представление о том, куда я приехал.

Мустафа почему-то показался мне наиболее порядочным из всех, с кем довелось в тот день встретиться, несмотря на его библиотечарскую должность. Ничего себе – библиотечарь! Кулаки по чайнику, центнер весу. И лицо доброго костолома.

Если на воле сейчас расставить таких библиотечарей, люди читать перестанут.

А вообще, главное – узнать побольше о лагере. По этапам нарасказывали всякого. Нужно разбираться, где правда, где брехня.

Издали слышался стук шагов первого выходящего с плаца отряда – проверка закончена. Я вернулся в барак, лег на нерасправленную койку и стал ждать.

Время подходило к полуночи, когда в барак протиснулся шнырь. Бесшумными шагами он пролетел к моему месту, наклонился и, прикрывая ладонью рот, прошипел:

– Александр, не спишь?.. К тебе пришли.

Он вытянулся, огляделся и, наклонившись, добавил еще тише:

– Мустафа.

И так же быстро удалился.

Молодец Мустафа, сдержал слово, отметил я про себя. Хотя в том, что именно так и будет, не сомневался.

Встал и тихо вышел. У калитки, держась рукой за электрозамок, стоял все тот же шнырь. Улыбаясь, он угодливо нажал кнопку, замок щелкнул, дверь открылась. На пустой и гулкой лежневке стоял Мустафа.

– Пошли быстро, пока какая-нибудь блядь не сдала.

Мы молча пошли в ту же сторону, куда два часа назад отряды шагали на проверку. Клуб был прямо напротив штаба, по другую сторону лежневки. Пока шли, Мустафа шепотом проводил краткую экскурсию, оборачиваясь через плечо:

– Сзади – столовка. Ты знаешь.

Идем дальше. Метров через тридцать:

– Справа – школа. Дальше справа – больничка. Слева – бараки отрядов. Вот это 10-й – самый поганый. Там бригадир, Захар, конченная мразь. За больничкой – штаб, напротив – клуб. Нам сюда. С заднего хода зайдем, чтобы Загидов не слышал. Это завклуб. Услышит – точно сдаст. Я с ним потом договарюсь.

Обошли клуб с обратной стороны. Тишина, никого. Мустафа открыл ключом висячий замок на двери заднего хода, и мы очутились в деревянном и затхлом предбаннике. Было полное ощущение, что я попал в дровяник, следом за которым находится хлев.

Мустафа будто уловил мои мысли и иронично заметил:

– Не Кремлевский дворец, конечно... Зато здесь никто не кантует.

Он открыл еще одну дверь, и мы двинулись по коридору.

– Пойдем в художку, в библиотеке стремно – окна на штаб выходят.

Перед дверью, за которой была эта самая художка, вдоль стены стояли какие-то стенды и плакатные щиты. Вероятно, свежеизготовленные, выставленные на просушку. Картин я не заметил.

Вошли. На кровати в дальнем углу сидел широколицый, добродушного вида парень. Все было вокруг заставлено рамами, планшетами. Кровать была вплотную придвинута к стене, а перед ней стоял письменный стол. Пахло красками и едой. Парень быстро встал с кровати, вышел из-за стола и протянул мне руку:

– Файзулла.

На нагрудной бирке было выведено красивым шрифтом: «Ильдар Файзуллин, 1 отр.».

– Файзулла. Тоже татарин, – отрекомендовал Мустафа.

– Да тут все в клубе татары: завклуб – татарин, библиотекарь – татарин. А я наполовину башкир, ха-ха-ха, – засмеялся он.

– У-у, жаба!.. – беззлобноотреагировал Мустафа и, замахнувшись над головой Файзуллы огромным кулаком, продекламировал что-то по-татарски. Понятно было, что это отборная, татарская ругань. Но не злая, а шуточная и по-лагерному театральная. Закончилась тирада одним выразительным, протяжным словом, произнесенным в нижнем регистре:

– Бо-о-ка-а!

Повернувшись ко мне, Мустафа перевел:

– Жаба.

В ответ Файзулла разразился не менее красочной тирадой на башкирском, в котором слово «бока» с различными прилагательными повторялось несколько раз.

Далее еще что-то вроде перебранки на обоих языках, чередуемой отборным русским матом. И в конце – резюме Мустафы:

– Давай чай ставь, жаба! Да жратву доставай. У-у-у, харю-то наел!

– А сам-то, ха-ха!..

– Не обращай внимания, Александр, это мы всегда так. Завтра, если увидишь Загидова, послушаешь, как тот нас с Мустафой кроет.

– Да, Загидов – конченный. Хитрый татарин, – улыбнулся Мустафа. – Представляешь, три татарина в одном клубе. И все – хитровыебанные.

– Это вы – хитровыебанные. А я нет, я нормальный! – уже в голос смеялся Файзулла.

«Да, в клубе жизнь совсем другая. Веселая контора, – подумал я. – Отдельное государство. Своя конура, плитка, койка, телевизор, книги. Здесь и срок летит быстрее».

Файзулла засобирался, накинул телогрейку.

– Я сейчас, быстро, до столовой добегу, возьму чего-нибудь пожрать.

– Тушенки попроси и хлеба белого! – вдогонку ему крикнул Мустафа.

– Говна на лопате, – ехидно огрызнулся тот в ответ и, хихикнув, вышел.

– Мы про запас тут ничего не держим – придут, вышмонают. Они только и ходят, рыщут, где чего пожрать найти.

– Кто?

– Менты, кто. Голодные тоже бывают, или закусить нечем. Наши-то прапора – еще ладно, эти нас знают. Мы их тоже всех знаем. А если из батальона шмон, то все метут. Солдат в батальоне еще хуже эков кормят, бля буду. Такая же перловка, такая же треска пересоленная. Они иногда прямо на шмоне, когда по баракам идут, конфеты из тумбочек жрут. А в столовке с завхозом у нас все правильно. Файзулла ему кое-что из ширпотреба делает, наборы кухонные или еще что-нибудь. Я книги даю хорошие, если надо. Ну, а он, соответственно, насчет пожрать не отказывает.

– А шмоны часто?

– Нет. В основном если кто-то с водкой спалится, или загасится какой-нибудь петух в рабочей зоне в штабелях. Бывает, что боятся возвращаться в жилзону.

– А почему боятся?

– По-разному бывает. Скрысил чего-нибудь или, сдал кого-нибудь, а люди узнали. Вот и боится, что ночью в бараке в каптерке выебут или запинают. Что, не знаешь, как делается?

– Да знаю, конечно.

– Может, с крытым пидором жил в одной семейке, не знал, что того втихаря или завхоз, или бригадир нанизывают. А потом ему масть вскрыли. И все. Вся семейка – в петухи. Вот и боятся в жилзону идти, в изолятор закрываются. Попросят в другую область перевести. А хули в другой области? Все равно рано или поздно узнают. Не дай бог еще кого-то так же зафоршмачили – вообще убьют. Но отсюда никого никуда не отправляют. Здесь конечная станция. Мясорубка.

Опять прозвучало это слово.

– А откуда оно пошло это название – «Мясорубка»?

– Давно его приклеили. Лагерь в 37 году основали. В следующем году – юбилей – 50 лет будет. Замполит Файзуллу уже загружает потихоньку на эту тему, мол, надо стенды сделать. Музей боевой славы местных ментов, короче говоря. А что «Мясорубка», так когда на производство выйдешь, на разделке пару-тройку дней повкальываешь или в лесоцех зайдешь, сразу все поймешь. Не-е, на разделку тебе нельзя. Я попробую поговорить с замполитом, может, пристроим тебя в хорошее место. Пока на производстве, а там потом в клуб переберешься. Загидов на следующий год освобождается.

– Я завклубом вряд ли когда-нибудь буду.

– Должность, конечно, козья. А что делать? Здесь вся зона – козья. Вся – красная. Блатные есть, но какие это – блатные? Кого старшаком назначили, кто просто блатует, мужиков бьет, за себя работать заставляет. В каждой бригаде по-разному. Есть несколько нормальных мужиков, хоть и в бригадирах, но при понятиях. Я тебе их потом покажу, познакомлю. Самая конченная мразь здесь – Захар, бригадир 101-й бригады. Конченная мразь. Сидит уже лет двенадцать. Девочку пятилетнюю изнасиловал и в колодец бросил. Живую. Потом ходил, мразь, несколько дней слушал, стонет она или нет. Так вот эту тварь хозяин поддерживает, потому что бригада план тянет. Основная бригада на разделке. На все его дела глаза закрывают. Хотя хозяин полковник Нижников – мужик хороший. Его и вольные, и зэки, и менты – все здесь уважают. Сказал – отрезал. Мужик суровый, но справедливый. Ему нет разницы: мент ты или зэк. Провинился – получи. Он и отрядников кой-кого бил у себя в кабинете. Шнырь штаба рассказывал. За пьянку, за то, что деньги у кого-то из зэков вымогал. Да... Загнал к себе в кабинет и начал пиздить. А тот: «Александр Николаич!.. Алекандр Николаич!.. Простите!.. Не губите!.. Извините!.. Осознал!» Крысы ебанные, хе-хе. Погоняло у него – «Сохатый». Он точно, когда идет по бирже – как лось. Шаги широченные, высокий, прямой. Да еще папаха. Бабы тут по нему на воле сохнут. Каждый день пять километров кросс бегают и двадцать раз на перекладине подтягиваются. Не пьет, не курит. А самое главное – взятки не берет. Остальные с обеих рук берут. Кто чем. Кто ширпотребом, кто со свиданки, кто с родственников.

– Я, кажется, видел его. Когда нас только привезли, в зону проходил высокий полковник.

– Да, это он. Он один здесь полковник. И один – высокий. Скорее всего, вызовет тебя еще до распределения.

– Было бы неплохо. Хоть знать, чего ждать. У меня же в личном деле всего понапихано: и карцер, и связь с вольными, и «склонен к побегу».

– Конечно, тебе лучше с ним поговорить, чем с отрядниками. Из них половина – алкаши, половина – идиоты. А оставшимся – все по хую. Они здесь такие же зэки. Кто пенсии ждет, кто свалить отсюда мечтает. Здесь что – болота, комары. Тоска. Дно. Конечная станция.

В разгар беседы вернулся Файзулла. За пазухой он держал большой сверток из газеты. Тихо вошел, закрыл дверь на ключ и довольно потер руки. Затем извлек из него две банки тушенки, хлеб, десяток картофелин и несколько луковиц.

– Так, мужики, нас сегодня неплохо подогрели. Зав. столовой сегодня в ударе, хе-хе. Правда, просил ему пару кухонных наборов нарезать. Потом нарежу.

– Ну, давай, Файзуллина Петровна, свари-ка нам пожрать, – начал опять куражиться Мустафа, – да поживей, ха-ха...

– Да тебя хуй прокормишь! – в тон ему отвечивал Файзулла, ныряя вглубь шкафа за кастрюлей.

– Вот это правильно.

Кастрюля была запрещенным предметом, поэтому ее приходилось прятать. Внешне она была мятой-перемятой, с единственной ручкой. Крышка и того хуже.

– Была нормальная кастрюля. Вышмонали, крысы, в этом месяце. Только жратву сварили, они тут же на запах прибежали. Так, вместе с кастрюлей, все и унесли. Вахта здесь рядом – они запах быстро чувят. Я говорю: «Хоть еду-то оставьте». «Нет, – говорят, – собакам на вахте скормим». И что ты думаешь? Все спорили, а кастрюлю Круть-Верть себе домой унес.

– А кто это – Круть-Верть? – поинтересовался я.

– Да прапор на вахте. На шмоне всех крутит: «Лицом ко мне... Спиной ко мне». Тупорылый такой. В его смену лучше через вахту ничего не проносить – он нутром чуёт. Бывает, добеется до кого-нибудь: круть – верть... встать – сесть... одеть – снять... Конченный. Такого тупорылого на всем Ивделе нет.

– А зовут как?

– Да хуй его знает. Азер по национальности. А зовут... да Круть-Верть и зовут.

– Тут самый хороший – это Шура Блатной, ДПНК. Панков фамилия. Этот хоть орет, матом ругает, но никогда у ээка последний кусок не отнимет. Он в принципе мужик нормальный. Не со всеми, правда. Но с ним всегда можно договориться. Если ему чего надо, сам всегда подойдет, спросит, в чем нуждаешься. А эти крысы – прапора, сначала что-нибудь вышмонают, потом за твои же вещи у тебя же и вымогают. То денег дай, то набор, то картину нарисуй, – неожиданно загорчился Файзулла.

– Да, знаю, он нас встречал. Видно, что он не злой, просто напускает жути.

– Вот-вот. Он и бухой бывает на дежурстве. Но его никто не сдает. Потому что он сам ээков редко когда сдает. Если уж накосячил крупно или нагрубил ему, тогда может, – добавил Мустафа.

– Это что. Тут вот есть подполковник Дюжев. Жирная такая свинья. Этот никогда не орет, всегда на улыбочке, на любезностях. Говорит, лыбится, сочувствует, головой кивает, а в конце разговора – раз, постановление на десять суток карцера. Вот если этот тебя, Александр, вызовет, с ним нужно осторожно. По его роже не поймешь, что он задумал. Нижников его не любит. Но у него, говорят, в управлении кто-то из родственников, поэтому плотно сидит в замах.

– Его тут все ненавидят, а что толку?

– Он Файзуллу несколько раз в трюм сажал. Сан Саныч, правда, доставал оттуда к вечеру, но все равно.

– Сан Саныч нам вроде как пахан. Клуб – его вотчина. Он замполит, а Дюжев – зам. по режиму. Оба – замы. Кто до нижниковского кабинета раньше добежит, ручку шлифанет – тот и прав! Хе-хе...

– Между собой не ладят, но с нами борются сообща, – подвел черту Мустафа.

Тем временем Файзулла почистил картошку, скинул ее в кастрюлю и полез под кровать за плиткой.

– Плитку тоже периодически при шмонах отбирают, – сказал он, сдувая с нее пыль, – но тут без плитки – никак. Чем, например, сушить планшеты? Отнимут – что делать? Приходится идти к Сан Санычу. Тот звонит на вахту. Иду, тащу обратно. Эта плитка где уже только не пребывала.

– Самое главное, что она им на хуй не нужна! Одни приходят, забирают – их жаба давит, что мы тут не голодные. Другие – чтобы потом вымогать что-нибудь. Дюжев приходил

несколько раз – сам лично забирал. Представляешь, подполковник, зам. начальника, по колонии ходит, плитки собирает. Лично.

– Это чтоб на Филаретова хозяину капать. Мол, вот, в клубе бардак, грёв туда завозят, целыми днями не работают, только жрут...

– Здесь в зоне все поделено, – начал объяснять Мустафа. – Производство, лесоцех, разделка – это вотчина Нижникова. Он любого зэка в зоне знает по фамилии, в лицо и в какой бригаде работает. У него память как компьютер.

У Сан Саныча – клуб, школа, ПТУ. Если с ним отношения хорошие, то он много чего решает. На УДО без его рекомендации не попадешь – характеристики для комиссии он дает. И на суде по досрочному освобождению почти всегда присутствует лично. От него все зависит.

А у Дюжева – хозобслуга, шныри, завхозы, комендант. Карцер! А еще столовая, швейка и склад. У этого больше всего. То-то он ходит жирный, как свинья.

– Он тут крутит дела – будь здоров, – добавил Файзулла. – Продукты на всю зону, шмотки, сапоги и прочее. Есть с чего пожить.

– Да еще так тянет кое с кого. Тут же – лагерь, ничего не утаишь. А всех, кто в клубе, он не любит. Он вообще клуб ненавидит. Так и говорит: «Была бы моя воля, Мустафин, я бы из этого клуба еще один карцер сделал. Вот тогда бы вы с Файзуллой у меня на месте были, и душа моя была бы спокойна».

– Нет, ты представляешь, Александр? Из всего карцер сделать! Тебя он точно возненавидит. Если узнает, что был здесь – удавится, хе-хе.

– Зато Нижников любит петь. У него любимая песня: «Запрягайте, хлопцы, кони...» Ему Дюжев – по хую.

– Здесь как хозяин решит – так и будет. Пакости и прокладухи с разных сторон, конечно, тоже будут. Но сожрать уже не смогут – хозяина боятся все. Каждый год смотр самодеятельности проходит. Из управления начальство приезжает. Нижников с Филаретовым лично программу принимают.

– А кто выступает, что за самодеятельность? – поинтересовался я.

– Да много чего. Хор, ВИА, танцоры, цыгане. Кто стихи читает, кто на гармошке играет, кто просто дуркует.

– Как понять?

– Ну, сатиру на лагерную жизнь гонит. Тут один пантомиму показывал на местное начальство. На Дюжева показал – он его на пятнадцать суток в карцер упрятал. Без вывода. За то, что кровать плохо заправил, или в сапогах нечищенных шел. Доебался, короче, до чего-то. Зато когда тот его на сцене показывал – а хули его не пародировать – брюхо показал – вот тебе и Дюжев! – все в зале ржали до упада.

– А хор... Хор раньше, еще в старые времена, из путных мужиков состоял. Даже блатные кое-кто пели, по раскумарке. А потом хозяин поменялся. Пришел новый замполит – дурак. Начал заставлять коммунистическую хуйню петь. Все, естественно, разбежались. Нагнали тогда в хор пидоров да чертей. Сделали певчий курятник. Ну и все. Это давно, еще до Нижникова было. Он пришел – все поменялось.

– Да, Дюжева поставь – он и сегодня курятник сделает!

– А сам впереди петь будет, ха-ха-ха!

– А гитары в клубе есть? – спросил я.

– Во!.. О гитарах. Я совсем забыл, – взвился Мустафа. – Здесь же до твоего приезда капитальный шмон был. Все гитары в отрядах позабирали и к Загидову в кабинет под замок перетасили. Дюжев с прапорами рыщет всю неделю по зоне, гитары из барачков выметает. Это к твоему приезду, Александр.

– Точно. До чего ж они тебя боятся. Как будто ты споешь что-нибудь и советская власть рухнет к ебени матери! – добавил Файзулла, открывая банку тушенки резцом по дереву.

– Да они не только в зоне – они и в батальоне охраны, который здесь за забором, все гитары вышмонали. Все магнитофоны у солдат из тумбочек позабирали, вместе с кассетами. Видно, из Москвы команда поступила.

– Да... Это плохо. Трудно тебе будет спрятаться. Будут пасти день и ночь.

– Да ладно, черт с ними. Мне сейчас, если честно, не до гитары. Я ее уж целых два года в руках не держал, забыл, что это такое.

– Надо переждать. Все утихнет, уляжется. Это первое время они будут во все шнифты глядеть, а потом отстанут. Тогда можно и с Сан Санычем насчет клуба поговорить, – успокоительным тоном добавил Мустафа.

– Давайте лучше поедим. Пока Дюжев не учуял, хе-хе, – пригласил к столу Файзулла.

Он уже успел достать откуда-то из заначки сало, порезать хлеб, распотрошить чеснок и все это разложить на чистом листе белой бумаги.

– Сальцо... Не желаете, Александр... как вас по-батюшке?

– Васильевич.

– Сало, как вы знаете, в тюрьме – основной продукт, Александр Васильевич.

– У-у, жаба! – гримасничая, вытаращил глаза Мустафа. – Какой ты татарин, Файзулла? Представляешь, жрет сало день и ночь и называет еще себя татаринком. Ты – не татарин, ты – хохол – «Файзулленко»! Нет, ты глянь. Завтра Загидову доложу, хе-хе...

– Доложи, доложи. Я давно знал, что ты – кумовская рожа, – откусывая сало, смеялся полным ртом Файзулла, – у Дюжева внештатным, поди? А вообще Коран не запрещает. Там написано: на войне и в плену, чтобы выжить, можно есть мясо самого грязного животного – свиньи. А ты сам, с понтом, не жрешь?

– Это свинья тебя должна есть! – не унимался Мустафа.

– А что, – не обращая внимания, отправляя в рот очередной кусок сала, продолжал он, – мы живем здесь как на войне – не знаешь сегодня, что будет завтра. Это раз. Срок мотаем – это тот же самый плен. Это два. Так что имею право есть сало по полной программе.

– Александр, ты угощайся, не обращай внимания на этот базар. Он так все сожрет. Он как верблюд – набивает впрок, хе-хе.

– В этом лагере на одной каше, без сала, не выжить, – ответил набитым ртом Файзулла.

Дальше была картошка с тушенкой, чай с конфетами и еще разные лагерные байки.

Мустафа с Файзуллой очень мне понравились. Были они совершенно разные. Маленький, коренастый, как колобок, Файзулла. Добродушный и весьма остроумный. И мощный, напористый Мустафа. Не менее остроумный, но более ядовитый в суждениях. Ильдар Файзуллин несколько лет назад учился в Свердловском архитектурном институте. Приехал поступать из Башкирии. Поступил. Не знаю, как уж так вышло, но сел он за грабеж. Кажется, по пьянке снял с кого-то шапку. Шапка ему была не нужна. Нужно было превосходство. Превосходство он получил, а с ним и сроку лет, кажется, семь. Но несмотря на это, был веселым и даже самоироничным.

Над собой он посмеивался легко и с удовольствием. Кто-то сказал, что основная черта великодушных людей – самоирония. Над другими – так же легко и всегда по-доброму. Даже о досадивших ему начальниках он говорил как о незлых злодеях. Художник он был, конечно, не Леонардо, не Брюллов, но все же с фотографий копировал достаточно точно, делая по лагерным заказам портреты чьих-то любимых и близких. Парочка таких незаконченных работ валялась на забитом до отказа подоконнике. Главным же ремеслом, которое его кормило, была резьба по дереву. В дальнем конце комнаты на стульях и коробках лежали заготовки кухонных наборов, шкатулок и прочей деревянной дребедени, которую ему заказывали и вольные, и зэки, и даже высокое начальство. Как у любого художника, в его лагерной каморке был полный бардак, который он характеризовал как «рабочий беспорядок».

– Зато при шмоне помогает, – пояснил он, – в таком бардаке даже мне ничего не найти, а уж ментам – и подавно. Загасить здесь можно хоть что. А в лагере это первое дело – загасить. Если, конечно, хочешь, чтобы у тебя что-то было.

Пристроиться художником ему помог Мустафа. До этого пришлось порядком поработать в лесоцехе на срывке. Срывка – одно из самых трудных рабочих мест. Долго там не протянешь. Поэтому Файзулла знал цену своему клубному месту. И относился к Мустафе как к старшему доброму брату.

Поели, посмеялись. Время незаметно перевалило за 2 часа ночи. Нужно было уходить. Я начал собираться.

– Подожди, не выходи. Я сейчас на лежневку с центрального крыльца выгляну, не дежурит ли там Дюжев у дверей, – пошутил Мустафа.

– А что, запросто. Может, и поставили кого. Да и сам Чистов мог шныря поставить, – подтвердил Файзулла.

– Серьезно, что ль? – спросил я.

– А ты думал. Вполне. Тут не СИЗО. Тут такие прокладухи бывают. Чистов – он уже пересиженный, он все может. Другое дело, ему освободиться скоро, поэтому вряд ли будет в штаб докладывать. Если спалишься, скажет, что ты самовольно ушел. Шнырь подтвердит. Шныря лишат, на худой конец, ларька на месяц, и всего делов. Ну, вы подождите, я схожу. Надо тихо, чтоб Загидов не проснулся.

Мустафа вышел и на цыпочках пошел по коридору. Отворил дверь и выглянул на лежневку.

– Сейчас никого из начальства нет. Главное, чтобы ДПНК на встречу не попался. Если бы ты уже распределенный был, с биркой, так никто бы и не спросил – ночью народу в зону много возвращается. С погрузки вагонов, с ремонтных мастерских. А если из карантина – проблема. Главное – идти не оглядываясь. С вахты сверху все видно. Но они там иногда спят или бухие, – напутствовал Файзулла.

Вошел Мустафа.

– Пошли за мной... Тихо... Загидов и во сне все слышит. Узнает – первый побежит к Филаретову задницу страховать. Сейчас как выходишь, иди прямо, но не бегом. Если бегом – сразу заметят. Иди, будто с работы, с промзоны из второй смены возвращаешься.

Я вышел на освещенную прожекторами лежневку, повернул направо и в полной тишине двинулся к карантину. За спиной была вахта, наверху, над ней, смотровой кабинет ДПНК, из которого вся зона просматривалась как на ладони.

Дверь клуба затворилась, тихо щелкнув. Идти я старался бесшумно, но все равно шаги мои звучали как ударные инструменты в туземных танцах. А может быть, мне просто казалось. А еще казалось, что спину мою сверлит взглядом Сашка Блатной – капитан Панков. Что вдруг, разглядев и узнав меня, сейчас заорет на всю зону: «А-а-а... Новиков!.. Вот ты где! А ну, блядь, куда идешь?.. Откуда? От Мустафы?!..»

Я не боялся попасться. Я боялся, что каким-нибудь образом они узнают, где я был, и этим подведу всех. Конечно же, ничего от меня не дождутся, но что ответить в таком случае? Хожу гуляю? Песни сочиняю? По вам соскучился, гражданин начальник?

Шаги звучали нестерпимо громко. Вахта удалялась. Никто не окликал. До калитки пятьдесят метров, тридцать... десять... Калитка. Не закрыта, замок не защелкнут – вставлена картонка. Ай-да шнырь, ай продуманный.

Вхожу в барак. Пахнуло табаком.

– Ну, вот и он! Я же говорю, блядь, это он в клубе был. Меня не наебешь.

Передо мной выросла фигура человека в форме с красной повязкой на рукаве, на которой было выведено белыми буквами – ДПНК. Он произнес слова, глубоко затянулся, шумно выдохнул табачный дым и спросил в лоб:

– Ну-с, что будем делать?

Это был не Панков.

Непонятно, то ли кто-то сдал, то ли просто зашли глянуть, какой он, Новиков. На месте не нашли, собрались искать, а я – вот он, тут как тут. Решили взять «на пушку»? Может, я бы и растерялся, не будь богатого опыта, приобретенного в следственных изоляторах Камышлова и Свердловска, да приключений на этапах.

– Что вы имеете в виду, гражданин начальник?

– Где ходишь? Где был, в клубе? – сразу бесцеремонно перешел на «ты» дежурный.

– В сортире, гражданин начальник, – ответил я и немало удивился собственной находчивости.

В голове возникла сцена, сопровождающаяся закадровым голосом Ефима Копеляна на темы кинофильма «Семнадцать мгновений весны»: «Штирлиц знал, что Мюллер никогда не пойдет проверять сортир. Тем более общий. Скорее всего, пошлет Вайса или, на худой конец, своего шофера. Вайса рядом с Мюллером не было. Шофер был, но за спиной у Мюллера. Значит, в сортире он еще не был. Значит...»

– В сортире, гражданин начальник. А что особенного? В свободное время никому не запрещается, – пытался отшутиться я.

За спиной дежурного и прапорщика показалась физиономия шныря. По ее выражению я понял, что наряд только что вошел.

– Да ладно гнать. Я знаю, где ты был. Повезло тебе: не пойман – не вор. Иди спать и не вздумай по зоне шататься.

Они неторопливо вышли и двинулись в направлении калитки.

«На первый раз пронесло», – подумал я.

Из своей каморки вышел Чистов. Спросил у шныря, что случилось, зачем приходили. Понял все. Потом повернулся ко мне и коротким жестом показал идти за ним, в его убежище.

– Вот бляди, уже сдали. Видели, что Мустафа приходил днем, и сдали. Ты видишь, какая зона, Санек? Сука на суке. Сейчас к Мустафе пойдут. Начнут на понт брать, мол, Новиков от тебя шел и спалился. Больше никто не видел? Загидов, завклуб, не видел?

– Нет, все тихо.

– Ясно. Это значит, днем кто-то цинканул Дюжеву или Шемету.

– А кто это – Шемет?

– Это начальник оперчасти. Главный кум. «Мюллер». Он тебя еще не видел. Но все о тебе знает. Этот – хитрый лис. Хочешь чаю?

Я отказался. Докурил сигарету и ушел спать.

Так пролетело три дня. По ночам я ходил в клуб к Мустафе. Утром приходилось вставать на проверку, потом опять спать. В обед и вечером – в столовку. Рацион и «меню» ее мало отличались от баланды и каши следственного изолятора, поэтому почти все «карантинники» забирали положенную пайку хлеба и возвращались в барак. Варили чай и пробавлялись тем, что осталось с этапа.

Несмотря на свои внушительные размеры, столовая всегда была битком. В дальнем конце сидели те, кто поблатней. Иногда по четыре-пять человек за десятиместным столом. Чем ближе к выходу, тем плотнее они были набиты. А те, что возле самых дверей, – просто кишели. Возле них постоянно толкались, пихались и шумели. Но за другие столы садиться никто не смел. Даже если бы вошел любой начальник и приказал это сделать – никто ни за что бы не подчинился. Слева у входа толпились петухи, черти и так далее. Справа – мужики, и в конце, у стены, – блатные. Большая часть из которых были почему-то «диетчики» – питались по диетическим нормам: хлеб – белый, баланда другая, все остальное тоже. Здоровенные парни, с накачанными бицепсами, в черных мелюстиновых костюмах незонковского образца. В общем, самые больные

и слабые, остро нуждающиеся в дополнительном и особом питании! Понятное дело, зона есть зона – кто как может, так и пристраивается.

Раздача еды происходила тоже по-особенному.

У каждого отряда есть два-три «заготовщика». Они заранее приходят в столовую и получают на всю бригаду по количеству человек пайки хлеба, баланду и кашу.

Последние две позиции выдаются с кухни в десятилитровых бачках, которые называются «флотками».

«Заготовщик» в лагере – нечто среднее между мужиком и чертом. Он не может быть ни петухом, ни опущенным – законы во всех лагерях и тюрьмах едины – опущенному к общей еде притрагиваться запрещено. Иногда даже не опускают или не петушат только потому, что с должностью заготовщика справляется ловко. Там тоже нужна сноровка и прыть. Там тоже есть свои хитрости. Чтобы бачки были полнее, приходится иногда на раздаче втихаря то пачку сигарет сунуть, то чаю. А их где-то надо взять. Приходится крутиться. Это уже кто как может.

Бачки полные – значит, всем досталось. Паек всем хватило – значит, все хорошо. Не хватило – виноват только заготовщик. Или отдай свою, или иди, бери где хочешь. Проси, отнимай, покупай, что хочешь делай – должно хватить всем. А нет – значит «под молотки». Несколько таких косяков – и «с черпака слетел». А там дальше – очень непросто жить.

Дальше чертоватого мужичонки не поднимаешься уже никогда. Это в лучшем случае. «Заготовщик» – это характеристика, оценка положения и степени значимости в лагере. Бывает, обсуждают кого-нибудь:

– Ну, как он? Что из себя представляет?

– Да-а... Заготовщик.

Далее можно не обсуждать.

Отряд идет в столовую точно так же, как и на проверку: впереди – курятник, следом – мужики, в конце – блоть.

Вошли в столовую. Петухи – налево. Мужики и блатные – направо. «Петушатник» представляет собой маленький закуток. Поэтому там всегда кишит. Дерутся, толкуются, вырывают друг у друга, хватают с пола. В этом углу обедков не бывает. Но сколько бы обедков ни осталось на столах в правой стороне – туда нельзя. За это забьют до смерти.

Чертям еще можно пошустрить после всех. Петухам ступать в правую половину нельзя. Все поделено четко и соблюдается неукоснительно. Плата за нарушение – иногда жизнь.

– Ну, как тебе наша столовка, Александр? – спросил меня по возвращении Чистов.

– Да как сказать... – уклончиво ответил я.

– Не ресторан, конечно, где ты играл, хе-хе... Но сейчас ходить можно. Раньше здесь все не так было. Она поменьше была. Петухов вообще на порог не пускали. Так в предбаннике и жрали. Да за столовой, там, где помой выбрасывают. Что говорить, зима настанет – сам увидишь. И сейчас еще кое-что от прошлого осталось.

– А что там происходит?

– Ой, Санек, лучше этого не видеть и не знать. Раньше на зоне петухов до 500 человек доходило. Куда такую армию денешь? А жрать им хочется сильнее остальных. Представляешь, что было тут вокруг столовой? Я-то еще застал... Трудно тогда было. Очень трудно. Сейчас их поменьше – человек триста. Но тоже – до хуя!

После первых двух посещений столовой и первых дегустаций ходить в нее расхотелось. Но денег при себе не было. Связей не было. Достать другой еды было негде. Поэтому пришлось мириться и молча отщелкивать дни моей лагерной жизни.

Ждали распределения. Днем водили в больничку на обследование. Это была самая важная процедура для решения вопроса о предстоящем трудоустройстве. Проверка на «тубик», «сифон» и на «дезу» – дизентерию.

– В этой системе «тубиком» можно стать в одночасье. Чифирнул с кем-нибудь из одной кружки, на этапе ли подхватил. Не узнаешь, не уследишь и никак не сможешь предвидеть, – наставлял меня Чистов. – Если найдут в начальной стадии – могут оставить лечиться в лагерной больнице. Если в запущенном виде – отправят на специальную «тубзону». Лучше туда не попадать. Практически верный путь в могилу или отсидка до звонка. А если срок червонец или пятнашка – то неизвестно, что лучше. Мне вот, слава богу, повезло. Я тут за десять лет знаешь сколько на вахту вперед ногами проводил? У-у-у... – Он закатил глаза и показал рукой в сторону забора. – Там кладбище. Гробы в три-четыре слоя лежат. Один на другом. Вечная мерзлота – глубоко не копают. Да и кто копает? Пидоры полудохлые... Кому тут на хуй это нужно. Выкопали полтора метра – зарыли. Следующего привезли – не копать же снова. Могилу вскрыли, на прежний гроб бросили, землей для близира закинули. И так до следующего. Трехэтажное общежитие, блядь. А сверху палка с жестяной от консервной банки. А на ней номер. Вот и все, что осталось от человека. Ни фамилии, ни имени. Из родственников сюда никто и не ездит. Так, один раз нарисуются, может быть. И все. Если сразу не приехали, гроб с телом не забрали, значит, это навсегда.

Он затаился, помолчал и добавил:

– Кладбище здесь большое. Неизвестно, где больше: здесь живых или там мертвых. Вот так, Саня.

Я слушал, не перебивая. Ему хотелось не столько наставлять меня, сколько просто выговориться.

– Ну, а ты-то за что здесь?

Он опустил голову, помялся и сказал абсолютно безучастно и бесчувственно:

– Не поверишь... Дочь свою по-пьяни изнасиловал... Это по приговору. В натуре все немного по-другому. Да хули сейчас вспоминать – десять лет прошло. Уже все забылось... И она, видно, тоже. Даже вот на свиданку ко мне приезжала. Простила меня.

Он прикурил новую сигарету от догорающего уголька прежней, покашлял и проговорил в пол:

– Раньше за это в лагере выебать могли. Но вот как-то прошел через весь срок, тьфу-тьфу... Раньше, Санек, понятия-то не такие были. И блатные – не такие. И кумовья – не такие. Да что вспоминать – было и было. Скоро уж освобождаются. Так до звонка почти и досидел.

– А давно ты здесь в карантине?

– Давненько. Но ты не думай, я завхозом не весь срок был. Я и на разделке отпахал, и в лесоцехе. Хапнул тоже будь здоров. Здесь все через прямые работы проходят. Не хотел тебя расстраивать, но и тебе тоже придется через все пройти.

В переводе с его витиеватого зонавского языка понимать это следовало так: «Я сходил в штаб, кое-что узнал. У кого узнал – это мое дело. Там уже есть решение – отправить Новикова на разделку леса. Распределение будет формальной процедурой. Но я тебе этого не говорил».

Глава 4. Распределение

Вместо прогнозируемых одной-двух недель просидеть в карантине мне довелось только три дня. На четвертый всем приказали строиться.

– На распределение, – пояснил Чистов. – Сегодня вы у меня последний день – вечером раскидают по отрядам.

Нас пересчитали и небольшой кучкой повели в сторону вахты.

Штаб представлял собой большой одноэтажный барак с двумя сквозными выходами. Один из них вел на плац. В левом крыле располагался кабинет начальника колонии, в правом – его замов, оперчасть, а также нарядная. В ней работали заключенные. Все остальные работники колонии были люди в форме. Нарядная – очень важный орган. С ее ведения происходят распределения рабочих мест и перемещения из отряда в отряд. Даже освобождения от работы по болезни или другим бытовым причинам тоже идут через нарядную. А потому нарячник в зоне – человек далеко не последний. Особенно – старший нарячник. Несмотря на то, что он тоже заключенный, должность позволяет ему многое. Фамилия старшего нарячника была – Кутаков. О нем мы знали из рассказов Чистова, с которым тот был на довольно короткой ноге. Мустафа с Файзуллой тоже упоминали его имя, когда перечисляли самые бластные должности в зоне.

– Кутаков – бывший подполковник. Вопросов решает много, но по каждому ходит сначала к Дюжеву, – говорил Мустафа.

– Вообще-то не дай бог иметь такую фамилию, хе-хе... – продолжал Файзулла. – Потатарски «кутак» – «хуй». Вот и представь, как звучит эта фамилия! Загидов его так и называет за глаза – «подполковник Хуев»! А в глаза, что ты! – Витя... Виктор Батькович!

В штаб мы вошли гурьбой, но тихо и с чувством здорового любопытства. Казалось, никто нас здесь и не ждет, потому что битый час пришлось стоять в коридоре, разглядывая плакаты агитационного характера, рассказывающие о трудовой доблести и энтузиазме заключенных колонии. А также читать местную стенгазету и очередной номер межзоновской многотиражки под названием «За труд!». В простонародье – «Козье Знамя». Рядом располагался стенд «Передовики производства», именуемый тоже не иначе как «Доска пидоровиков». Глазеть на все это было довольно занятно. Ни лавок, ни стульев в коридоре не полагалось, поэтому приходилось слоняться до крыльца и обратно. Дальше него ступать нельзя было ни шагу, о чем все были строго предупреждены каким-то капитаном.

Поочередно открывались двери кабинетов, на которых висели таблички с указанием фамилий, званий и должностей их обитателей. Из них постоянно выходили и входили какие-то люди в форме, с папками в руках. Иногда запрыгивал штабной шнырь, так же быстро выпрыгивал и бежал в какой-нибудь барак выполнять поручения. Носился он невероятно быстро.

– Вишь, как шустрит – аж с пробуксовкой срывается, – с ухмылкой заметил кто-то из нашей компании.

– Шустрить не будешь – в лесоцех на пилораму загонят. Там не так скакать придется, – в тон ему отвечал другой.

– Да хуй с ним, со шнырем, лишь бы нам туда не угодить, – пробурчал третий.

Мы с Собиновым стояли в стороне и хихикали над содержанием газеты.

Распределение проходило в кабинете начальника колонии, полковника Нижникова. Все его заместители, начальники производств, начальники отрядов уже сидели там. Вот-вот должны были выкликнуть нас.

Не помню, кого вызвали первым, но все с волнением ждали, когда первопроходец выйдет, чтобы узнать, какая атмосфера за дверями, о чем спрашивали. Что за мужик – «хозяин»?

С первым беседовали относительно недолго.

– В лесопех, – понуро сообщил он, затворяя за собой дверь кабинета. – Всех, походу, туда загонят.

– Нас, скорее всего, последними заведут, – предположил Собинов, – тебя-то уж точно.

– Разницы нет никакой. Как дело откроют, обомлеют: постановление в изолятор, непризнание вины, иск сто шестьдесят шесть тысяч... Даже не сомневаюсь, что на разделку пошлют, – ответил я.

– Да подожди ты... У них смотр самодеятельности каждую весну проходит, а заниматься некому. Чистов же говорил, что комиссия из управления ездит, смотрит, в какой колонии лучше. Замполит за это башкой отвечает. Так что могут пока и в клуб хотя бы на время определить, – подбадривал Толя.

Одного за другим всех пропустили через кабинет. Остались мы вдвоем. Выглянул человек в форме и выкликнул:

– Новиков! Собинов! Заходите.

Мы вошли. Поздоровались. Напротив двери за большим столом сидел начальник колонии. Слева вдоль окон – остальные участники комиссии. Справа, вдоль глухой стены стояли в ряд стулья, на которые нам велено было присаживаться.

Начальник колонии оказался человеком исключительно приятной и волевой внешности. Мужчина лет сорока пяти, улыбчивый, с ясными голубыми глазами и очень цепким, пронзительным взглядом. Надо сказать, улыбка ему шла. Из рассказов он представлялся мне немного другим. Среди присутствующих сразу узнал его заместителя Дюжева, которого никогда в глаза не видел, но по описаниям Файзуллы и Мустафы распознал безошибочно. Вот что значит глаз художника.

Дюжев сидел, ехидненько ухмыляясь. На вид это был добродушный толстячок, более подходящий на должность швейцара из пивного бара, нежели на начальника режима. Форма его тоже была не совсем гладкой. А может, просто сидела на нем из-за его нескладных форм как с чужого плеча.

В полную противоположность Дюжеву сидящий на третьем стуле от него замполит Филаретов был строен и подтянут. Форма на нем сидела безукоризненно. По всему было видно, что он действительно замполит.

Нижников очень приветливо поздоровался и, вероятно, не зная, как правильно начать, произнес приветствие, чередуя фразы мудреной приговоркой. Как мы поняли через несколько минут, приговорка была неотъемлемой частью его речи и заменяла собой невысказанные вслух мысли.

– Ну, здравствуйте, вот так само дело ебиомать... Прибыли, вот так это дело?..

Произносил он это добавление так же просто и естественно, как люди произносят, сами того не замечая, слова-паразиты – «как бы» или «короче».

Как впоследствии выяснилось, от интонации, с которой он произносил приговорку, и зависело любое его решение. Если зловецким тоном, а далее все остальное приветливо, то все равно в конце объявлял о водворении в карцер. И наоборот. Приветливое «это само дело ебиомать...», несмотря на последующий разнос, наставления и предупреждения, заканчивалось поощрением или благодарностью. При всем при этом человек он был неординарный и в некотором роде даже уникальный, хотя бывал порой жестким и даже жестоким.

Приговорка была фирменным «лейблом», и в лагере иногда его потихонечку передразнивали. Полностью произносил он ее только в особых случаях. «Вот так это дело, само дело ебиомать...» В разговоре же в качестве связующего звена применял в сокращенном варианте – «самдел ебиоть...» Но что более всего удивительно – только в разговоре с заключенными или работниками колонии – не важно, женщины это были или мужчины. Даже в присутствии прокурорских чинов и вышестоящего начальства. И никогда – в присутствии родственников, приехавших на свидание, или других вольных лиц, не имеющих отношения к колонии.

– Вы вдвоем прибыли? А третий где? – спросил он, перелистывая личное дело.

– В тюрьме остался. Его, наверное, на другую зону отправят, – ответил Толя.

– Так... профессии какие есть? Если есть, пусть родственники, вот так само дело, документы пришлют.

– Да какие профессии: я – музыкант, он – директор, – улыбнулся я.

– Это не профессии. Здесь – не профессии. У вас ведь иск, так? Погашать как будете? Что-то погасили уже?.. Статья с конфискацией?.. Так... Ага, понятно, – бормотал он себе под нос, листая дело, – так...самдел ебиоть...вину не признаете? Так?

– Так.

– Конечно, не признают, хе-хе. Конечно, ничего погашать не хотят. Чтоб такой иск гасить, надо работенку высокооплачиваемую иметь. У нас тут где самые высокие заработки? – мелко посмеиваясь, вмешался в разговор Дюжев. Все это время он сидел молча и внимательнейшим образом, улыбаясь, разглядывал нас обоих.

– Кажется, на разделке? Или в лесоцехе? – картинно повернулся он к сидящему рядом майору добродушного вида с проседью на висках. Майор улыбнулся и молча кивнул.

– Вот, начальник производства, майор Пентегов, вас устроит на самые высокооплачиваемые должности, – продолжал ехидничать Дюжев.

– Да мы, в общем-то, на теплые места и не рассчитываем. Куда поставите – там и хорошо. Нам везде хорошо, – в тон Дюжеву ответил я.

– Было хорошо, – поправил Дюжев.

Повисла глупая пауза.

Первым ее нарушил Нижников:

– Ну, вот так это само дело ебиомать... У нас тут производство большое. Летом – сплав. Зимой – разделка. Лесоцеха свои. Пилим, само дело... Погрузка в вагоны. По всей стране. Вот так, ебиоть, отправляем.

Далее он стал рассказывать о производстве, о нормах, о трудовых подвигах и местных «стахановцах», которые ударным трудом заслужили досрочное освобождение и вместо того, чтобы «прохлаждаться здесь до звонка, ушли, вот так само дело ебиомать, досрочно...».

Потом говорил Пентегов. Следом – замполит Филаретов. За ним – еще кто-то. И так, в незаметно для всех потеплевшей атмосфере пришли к самой важной теме – клубу. И что представляет собой этот клуб в понимании лагерной администрации.

– Самодеятельность у нас, вот так это дело, хорошая. Вокально-инструментальный ансамбль есть, хор, народные инструменты, само дело... Но только тем, кто уже поработал на производстве год-два... Зарекомендовал себя с хорошей стороны. Доказал трудом, вот так это дело ебиоть...

Нижников обвел глазами всех присутствующих.

– Правильно я говорю?

Присутствующие закивали. Дюжев сидел неподвижно, с той же ухмылкой, сложив руки в области пупа.

– А песни, эти, которые ты пел на магнитофон, вот так это само дело, – не те песни. Надо русские народные, трудовые, а не то что, ебиоть, в ресторанах там или где... А здесь это – нет...

– Нет, почему же, можно, здесь тоже поют. Вон, в изоляторе. Еще как поют, хе-хе, – заметил Дюжев. – Пожалуйста, пой. Каждой песне – свое место.

– В общем, так, – после нескольких незначительных вопросов ко мне и к Собинову начал подводить итог Нижников, – для начала определяем вас на разделку в 101-ю бригаду. Вот сидит ваш начальник отряда – капитан Грибанов, прошу любить и жаловать, как говорится, вот так это дело. – Повернувшись лицом к капитану, он хлопнул ладонью по столу.

– Принимай обоих. Парни здоровые, на разделке такие нужны. Поработают, мускулы накачают... так это дело... А потом можно и про клуб подумать. И работу другую, понимаешь, вот так это дело, само дело ебиомать.

Нижников приподнялся над столом. Все поняли – разговор окончен. Распределение тоже. Мы встали.

– Все понятно. Разрешите идти?

– В коридоре подождите. Нечего по зоне шляться. В карантин вас отведут, – вдогонку приказным тоном проговорил Дюжев.

– Так... Никуда не выходить. Ждите в коридоре, – первый раз за все время подал голос Грибанов.

Мы вышли на крыльцо и закурили.

– Ну, шило... Так я и знал. Как минимум полгода придется стреляться на этой ебаной разделке, – мрачно изрек Собинов.

– А как тебе начальник отряда? – спросил я.

– Как шавка подлаивает Дюжеву. По виду – недалекий. Мне так кажется. Но рыть землю сейчас начнет всеми копытами – хозяин дал добро.

– Хорошо хоть, вместе в один отряд, так полегче все же. Хоть общаться будем по-человечьи. Чувствую, Грибанову это не очень понравилось. Будут нас разбивать, наверное.

– Вряд ли. Если бы хотели – могли это сделать прямо сейчас, – выпустил дым Толя. – Вряд ли. А отрядник? Отрядник, как хозяин скажет, так и сделает. Надо к Нижникову подход искать.

– А Дюжев? Уматный тип. Как слон непробиваемый. И сам себе на уме. Правильно его тут «Дермантиновая жопа» называют! хе-хе...

– Да все они тут... Вот, бля, зверинец, вот попали... Кого тут только нет, и каждая блядь – начальник! Подожди, еще другие не проявились. Может, как проявятся, так и Дюжев благодетелем покажется.

Мы докурили и вернулись в штаб. Вышел Грибанов и нырнул в какой-то кабинет, бросив на ходу:

– Быстро в карантин. После проверки – в 10-й отряд. Завхоз придет за вами. Идите, идите, собирайте вещи.

И мы пошли.

Первый вопрос Чистова по нашему возвращению был:

– Ну что, куда? На прямые работы?

– В 101-ю.

– Так я и знал. Думал, еще, может, посмотрят на то, что вы в институте учились, что ты на гитаре играешь... Ясно. Значит, из управления цинканули. А может, хозяин сам так решил. Ну да ладно, давай чайку попьем, а то вечером вас уже в 101-ю загонят.

Мы пошли собирать вещи. Потом посидели за чаем.

– Если что, заходите, не стесняйтесь, всегда рад, – с этими словами Чистов проводил нас до крыльца.

Глава 5. 101-я бригада

Из карантина мы, не помню уж в чьем сопровождении, прибыли на место новой дислокации, в 10-й барак, где располагалась теперь уже наша, 101-я бригада. Основная, самая многочисленная в колонии, а потому находящаяся под пристальным вниманием полковника Нижникова. Бригадир звали Владимир Захаров, с естественно вытекающей из фамилии кличкой – Захар. Барак, в который мы поселились, был, в отличие от карантина, двухэтажный. Более поздней постройки, а потому – кирпичный. Двор почти ничем не отличался от карантинного – те же две березы, тот же дощато-бревенчатый настил. Разве что сортир в два раза больше да несколько огромных деревянных мусорных баков у забора, высотой по грудь и с разинутыми огромными откидными крышками. Внутри они кишели крысами, которые иногда выскакивали наружу и гонялись по бортам друг за дружкой. А то кучей мчались от баков к сортиру, ныряя в огромные щели настила или под стены крашенного известью антисанитарного нужника. Так как было их без счету, мусорный бак круглые сутки шуршал, цыркал и писклявил. В нем тоже шла жизнь. Это тоже был лагерь со своей иерархией и вечной битвой за место под солнцем.

На крыс никто не обращал внимания. К ним привыкли, с их присутствием смирились. Они тоже были эки.

Ветки берез были голы. А стволы от постоянного лазания по ним все изодраны, отшлифованы сапогами, вакса которых, казалось, с годами въелась в бересту, сделав ее серо-черной. Меж крупных и толстых веток параллельно земле были прибиты какие-то доски, отдаленно напоминающие части разрушенного охотничьего лабаза. Назначение их для неопытного глаза было непонятно. Это был зимний «петушатник». В конце двора ютилась кочегарка – кирпичная коробка с черной дверью и трубой.

Барак стоял торцом к лежневке. За дальней его стеной – забор, опутанный колючкой. Контрольно-следовая полоса – «запретка». Потом еще забор. А далее уже и не видно.

Если бы барак был рабочим общежитием завода, фабрики, ПТУ или, на худой конец, казармой, в нем могло бы разместиться человек пятьдесят, от силы восемьдесят. В лагере с расселением проще – только на втором этаже проживало почти двести человек. Не считая петухов – они жили под лестницей и в предбаннике. Самые блатные из них – у дверей и в коридоре среди сапог. Но за эти места надо было биться. Поэтому драка и свара в этой части барачного поселения не прекращалась. Даже более жесткая, чем среди мужиков. Особенно зимой. Самых опущенных и слабых в морозы выгоняли жить в мусорные баки. Или на «лабаз» на березы. До конца зимы дотягивали немногие.

Встретил нас завхоз – бритый наголо, с довольно сытой мордой рослый детина примерно нашего возраста. Фамилия его была Крамаренко. Одет он был совсем не по уставу – в черный мелюстиновый костюм, ботинки с набитыми каблуками. Под курткой – футболка. В руках – какая-то тетрадь, что-то вроде вахтового журнала. Встретил более чем приветливо, все время улыбался, спрашивая какие-то мелочи. Потом рявкнул в дверной проем:

– Дневальный!.. Ну-ка, быстро убери в третьем проходе матрасы со шконарей с первого яруса!

Дневальный был худощавый парень лет двадцати пяти. Он вывернулся из-за моей спины и бросился убирать чьи-то матрасы.

– Куда их? В шестой?.. Подождите, мужики, сейчас освобожу...

Я прекрасно понимал, что из-за такой смены мест могут последовать разборки или подняться базар, тем более, что мы новенькие, и из-за нас вдруг кого-то подвигают из блатного третьего прохода в обычный шестой.

– А кто здесь спит? – поинтересовался я. – Давай без непоняток. Кого вы из-за нас выгоняете?

– Санек, все нормально. Отрядник так приказал. Так что заселяйся свободно – они сейчас на работе. Им об этом объявили еще утром, так что базаров быть не может. А если до Захара дойдет, что кто-то здесь недоволен, – вообще рога поотшибают, – сказал Крамаренко и, повернувшись в сторону шныря, прикрикнул:

– Давай, шевели булками!

– Сейчас, Олег, сейчас быстро уберем...

Шнырь уже бежал по бараку между двухъярусными койками, толкая впереди себя взашей какого-то опущенного.

– Давай, крыса, быстро взяла матрасы и в шестой проход!

Пнул для убедительности его под зад и стал контролировать исполнение своего приказа, держась руками за верхние шконки, раскачиваясь взад-вперед, всем видом и движениями показывая, что готов пнуть еще раз, но уже с разбегу.

– По одному бери, гидра!..

Махнул в сторону опущенного рукой и добавил:

– Тупорылая, блядь, Валька-крыса.

Тот быстро скрутил матрас и, прижав его к груди, бросился в сторону двери к шестому проходу.

– Давай, второй неси короче!.. Потом вниз пойдешь, будешь Чуче помогать. Чтоб сортир через час весь вычистили! Поняла, крыса?!

– Понял, понял. На заварочку-то хоть дай...

– Дам, дам. Когда сделаете. Если завтра отрядник мне хоть слово за сортир скажет, я Чуче второе ухо оторву! Понял? Так и передай.

Все это время мы стояли в коридоре рядом с Крамаренко, который, как выяснилось, оказался нашим земляком из Свердловска.

– Ну, все, мужики, давайте заселяйтесь, располагайтесь. Чего не ясно – со всеми вопросами ко мне. К отряднику – не надо.

– Да, в общем, нам все понятно. Завтра что? Когда на работу?

– Вечером придет Захар. Он поздно, после одиннадцати приходит, иногда после полуночи. У него свободный съем. Придет – все расскажет. Если чай надо или чего поесть – заходите ко мне в каптерку, я все дам. Ни к кому не обращайтесь. Тут все очень непросто, – выходя, сказал он.

Остановился и еще раз повторил с нажимом на первое слово:

– О-очень непросто.

Мы сели напротив друг друга, думая с чего начать: пить, есть или раскладывать скарб?

Между кроватями у стены стояла тумбочка с дверцей и выдвигаемым ящиком. Ящик был пуст. На дне его лежал лист-календарь. На календаре был апрель и семь крестиков, проставленных чьей-то рукой.

– Сегодня, Толя, седьмое апреля 1986-го года.

– Всего-то? – грустно усмехнулся он.

Как по команде, мы встали и пошли курить.

Походили по двору кругами, вернулись в барак, не зная чем заняться. Проверка на плацу закончилась, и отряды шумно, строй за строем, потянулись по своим местам.

Открыли ворота, и незнакомая нам бригада с топаньем и базарным гомоном начала заползать в барачный двор.

Грохот сапог перешел в предбанник, затем – на лестницу. Мужики начали пробираться к своим шконарям. Некоторые с любопытством поглядывали в нашу сторону. В лицо меня никто не знал, поэтому пытались определить, который из этих двоих – Новиков?

Все разбрелись по углам и начали соображать лагерный ужин. Собирались в проходах между шконарями, по двое, трое, четверо, мелкими «семейками» – в лагере поодиночке не

выжить. На тумбочке – банка с кипятком, а то и две. Пара рыбных консервов, маргарин, несколько конфет да пайка хлеба, принесенная из столовой с казенного ужина. Ее обычно забирают с собой, чтобы вечером вот так, в более теплой компании и в «домашней» обстановке съесть с чем бог послал. Послал из лагерного ларька, в котором раз в месяц на девять рублей можно отовариться. Если, конечно, в качестве наказания его не лишило начальство. А лишить могло за что угодно: не поприветствовал должным образом начальника отряда, даже если тот пришел пьяный как свинья. Не застегнул верхнюю пуговицу. Не почистил сапоги. Плохо запрокинул кровать. Да за что угодно. Не говоря уже о невыполненной норме на производстве.

Иногда, если план дается хорошо, вместо девяти рублей – аж тринадцать. И вот в эти тринадцать нужно уложить всего понемногу – сигареты, сахар, консервы, маргарин. Растянуть все это на месяц. Поэтому сбивались в «семейки», «кентовались». Вскладчину легче: кому-то посылка из дома, кому-то передатка со свиданки. Если на воле нет никого – все равно с голоду не пропадет – маленький общак выручит. С каждым такое может случиться. Поэтому колья голодуха – беда общая, то и отбиваться от нее лучше сообща.

С банками носились во двор к такому же точно столбу, как в карантине. Кто – сам, вместо кого-то – «сынок». Это тот, кто в «семейке» помоложе. Или кто при блатных в качестве «сынка». Кое-кто бегаёт заваривать по десятку банок, быстро, туда-сюда. За вскипяченную банку в качестве платы – заварка чая или горсть конфет. В основном это удел заготовщиков или мужичков, которым не хватает еды или нет поддержки с воли. А то и просто за «боюсь». В основном, конечно, последнее. Называется это – «послать ушана».

После того как все мужики и ушаны заварят, у столба начинают биться петухи. Здесь тоже не все равны. Поэтому шевелиться приходится быстрее и занимать место у кипятильни – в драку.

Появился Крамаренко. Он прошел по проходу, поглядывая вправо-влево, будто ища кого-то. Поравнялся с нами. Стрельнул глазами по тумбочке, по одеялам. Осмотрел четыре одноэтажные койки, стоящие в самом конце, и повернул обратно. Через минуту подлетел шнырь с литровой банкой в одной руке и кипятильником в другой.

– Вот, мужики, завхоз подогнал вам. Сейчас кого-нибудь пошлем.

Он нагнулся, прострелил взглядом межкоечное пространство до самых дверей и крикнул кому-то:

– Эй, кукус, иди сюда!

Подбежал шустро вида бойкий паренек лет двадцати.

– На, сходи скипяти. Вот сюда принесешь, понял? – и, повернувшись к нам, добавил: – Если надо будет кипятку или чифир заварить, вот его кликните.

Парень быстро взял банку и убежал.

– А как его зовут?

– Да зовите – «кукус». Он откликается. А так погоняло у него – «Валет». А меня Дима зовут, – представился шнырь. – Если чего надо – я тут.

Валет вернулся довольно быстро, перехватывая горячую банку из руки в руку.

– Пока петухов разгонял, задержался немного...

Он оглянулся несколько раз в сторону дверей. В дверях стоял шнырь Дима, внимательно контролирующей процедуру.

После нехитрого ужина народ начал собираться ко сну. Кто выскочил покурить, кто по нужде. В воздухе замелькали одеяла. Гвалт начал потихонечку убывать.

В дверях появилась фигура завхоза, возвестившая об окончании дня:

– Та-ак!.. Давай отбой!.. Отбой, блядь!

Брезгливо повернувшись к располагавшемуся у входа курятнику, он гаркнул:

– А ну, крысы, хорош галдеть! Раскудахтались... Давай быстро ложись!

Для острастки еще несколько раз матюгнулся, и у входа стало тихо.

Я лег на нерасправленную койку и поглядел вокруг. Четыре аккуратно заправленные кровати, две из которых были с панцирными сетками, точь-в-точь такие же, как у моих деда с бабкой. Они оставались пусты. Значит, главные лица этой обители еще не пришли. Было ясно, что в «панцирном» углу живет Захар со своим ближайшим окружением. Я закинул руки за голову, закрыл глаза, задумался и незаметно провалился в сон.

Разбудил меня лязг электрозамка и удар железной калитки. За окном застучали сапоги, и послышался хохот нескольких глоток. Шаги были громкими, уверенными. Даже нахальными. Кто-то тихо сказал: «Захар идет».

Маленького роста человек, одетый в черное, прошел от лестницы до конца барака, не сбавляя шага, громко стуча каблуками. Нарочито громко, ударяя железными набойками в пол. Следом за ним – высокий мускулистый парень лет двадцати пяти, в заломленной на затылок высоченной «пидорке» синего цвета, одетый в телогрейку с длинными-предлинными рукавами. В них он прятал кисти рук. Из одного рукава торчали четки, которые он постоянно перебирал. Этот стучал ногами тише, но походка и все жесты говорили о его нарочито блатных манерах.

Следом шагал третий. Совсем негромко и без особых манер. В углу они вполголоса перекинулись несколькими фразами и плюхнулись на кровати. Потянуло табачным дымом.

Крамар прошел до самой главной койки.

– Есть будете? – спросил он Захара, и, повернувшись ко второму, рослому, повторил услужливо: – Петруха, есть будешь?

– Давай, неси чего-нибудь.

Дима-шнырь схватил банки и рванул к выходу.

Завхоз опустился на шконарь напротив Захара. Они говорили тихо, вполголоса. Несколько раз, мне показалось, прозвучала моя фамилия. Я приподнялся. Захар, наклонившись в сторону, прямо из-за спины Крамара разглядывал меня. Мы встретились глазами, но он тут же перевел взгляд на того, которого звали «Петрухой».

Я тоже отвернулся и стал думать, как же нам предстоит знакомиться. Идти представляться я посчитал для себя слишком унижительным. Он, скорее всего, тоже. Поэтому все должно было состояться завтра на работе. Или в кабинете начальника отряда Грибанова, который, конечно же, нагрянет прямо с утра. Об этом перед отбоем всех известил Крамаренко:

– Завтра утром отрядник будет. Не дай бог у кого кровать окажется плохо заправлена! Я предупредил, блядь!

Прибежал Дима-шнырь с газетным свертком в руках. Застучал консервным ножом. Из угла запахло килькой в томатном соусе, луком, чесноком и салом. Однако есть почему-то не начинали. Тихо переговаривались, время от времени гогоча. Я перевернулся набок, накрылся подушкой, чтобы заглушить весь этот базар. Завтра на работу, надо бы поспать...

– Санек... Новиков... Саня... Ты чего лежишь, присоединяйся. Идем чифирнем да познакомимся, – в наступившей вдруг тишине громко и отчетливо произнес голос из угла.

Я повернулся. Не вставая со шконаря, откинувшись спиной на стену, на меня глядел Захар. Все звуки, шорохи и храпы в бараке мгновенно улетучились.

– А то мы тебя только по песням знаем, ты уж извини... Песни твои уважаем. Так, братва?..

Все одобрительно закивали.

– Мы, конечно, народ простой, давно на воле не были, хе-хе... Хоть Расскажи, что там делается. Про перестройку... Что это за хуйня такая? Да, пацаны? Ха-ха!.. – заржал Захар.

Я рассмеялся в его же манере и для поддержания разговора ответил:

– Благодарю. Какая на хуй перестройка? Если бы была перестройка, я бы здесь не сидел.

– А-га-га-га!.. – одобрительно ответил угол.

Я поднялся и пошел.

– Садись поближе. – Захар подвинулся на край, освободив место. – Располагаться в лагере надо сразу поудобней, жизнь – она здесь у каждого долгая... да... Если, конечно, не накосячишь, га-га...

– А если накосячишь, то, бля буду, может показаться еще дольше, хе-хе!.. – ответил в тон Захару тот, которого звали Петрухой.

– Петруха, – протянул он мне руку.

– Это у нас тут самый блатной, вишь, бля, весь на пантомимах, – начал в ерническом тоне Захар. – Надо, бля, закрыть тебя суток на десять, га-га!., чтоб с шарниров спрыгнул!

– Человек только пришел, а ты, в натуре, уже свои кумовские замашки засвечиваешь. А я тут с тобой кентуюсь. Подумает, что я тоже, бля буду, такая же кумовская крыса, хе-хе, – прихохатывая, отвечал Петруха.

С первых же минут знакомства я понял, что Петруха при Захаре играет какую-то особенную роль. Что он не просто «старшак» – старший сменного звена, как его представил Захар. Несмотря на его подчиненность Захару по работе, он держится уверенно, отпускает острые и ядовитые шутки в его сторону, да и в адрес администрации, и при этом гогочет так, будто сидит вовсе не в тюрьме, а в рабочем общежитии золотодобывающего прииска. Как бывалый, повидавший виды, даром что 27 лет, намывший золотишка не только для страны, но и для своей заначки, в предостаточном количестве.

С виду, конечно, Петруха был намного ярче и колоритнее Захара – рослый, красиво сложенный, с невероятно сильным рукопожатием и мускулатурой. А главное, веселый и очень располагающий к себе. Единственное, что портило всю картину, так это нервный тик, который изредка его беспокоил. Со стороны казалось, будто он по-цыгански передергивает плечами. В руке он вращал четки, виртуозно накидывая их петлями на пальцы – сказывалась длительная и многолетняя тренировка. Отсидел он к моменту нашего знакомства из отпущенных ему девяти лет почти семь.

Шутками он сыпал, не уступая Захару, и, безусловно, имел незаурядное чувство юмора. У Захара это чувство было более изощренное и грубое. А иногда и зловещее. Хотя абсолютно не похожее ни на чье и присущее только ему.

Третий, что пришел вместе с Захаром и Петрухой, сидел молча.

– Это Вася, старшаком последнее время в бригаде ходит. Скоро освобождается. Так, не работает уже... дни добывает, – представил его Захар. – Десяточку отдал хозяину. Вот так.

– А у тебя сколько? – спросил я.

– А у меня пятнашка. Одиннадцать лет уже здесь. Повидал немало всего. Тут место гиблое. Последние годы полегче стало. А раньше что было, рассказать – мозги сведет. Эта зона, Санек, раньше так и звалась – «Мясорубка». Я срок начинал в лесоцехе на самом жутком месте. Все прошел. Здесь каждый должен пройти все. Пока через огонь и воду не пройдешь – хозяин тебя на теплую должность не поставит. Тут и блатные через это прошли. А кто не хотел – по полгода в БУРе отсидели и – бегом на производство. Или этапом на Белый Лебедь. Слышал? Это – ад. А кто и вон туда, за забор, в холодный цех, – показал он за спину. – Вон, Петруха тоже в БУРе не один раз чалился. Если б не я, так там бы и сидел, благовал перед вшами, га-га!.. Перед ментами много не поблатуешь. В «нулевке» был? – спросил он меня, резко повернувшись.

Я кивнул. В «нулевке» я не был, но в свердловской тюрьме, сидючи в карцере, в непосредственной близости от этой самой «нулевки», прекрасно знал о ее замораживающих свойствах и особой роли в исправлении нарушителей режима содержания.

– На тюрьме «нулевка» – санаторий по сравнению со здешней. Здесь зимой минус пятьдесят градусов. Решетку откроют, и через полчаса будешь как ледяной балан. Тихий, тяжелый и готовый к выносу, хе-хе, – добавил Петруха. – У Дюжева это любимая хата. Он любит ее

больше, чем свой дом родной, га-га!.. Так, бля буду, и говорит, что очень любит эту камеру и всем в ней пожить желает, хотя бы денек.

– А там, бля, больше и не проживешь! Разве что с салом туда заедешь, хе-хе! А, Петруха? Когда сидел в БУРе, на матрасе из сала спал?

– Да не-е... Я по мнению чалился. Полгода БУРа дали, а я в Сочи мотанул, бля. Дюжеву говорю: «Ты точкуй. Как полгода подойдет – цинкани мне по телефону, я подъеду...» Га-га-га!..

– Э, а где у нас завхоз? Дневальный!.. Где эта крыса? В одиночку, что ли, в каптерке трамбуешь? Видал, Санек, какую харю Лысый насосал? Га-га...

– Эй, скажите там шнырю, чтобы Лысого позвал!

Пришел Крамаренко. Вид у него был не заспанный – ждал, когда позовут. Может, он бы и сам притащился из любопытства, но без ведома и приглашения Захара сделать этого не мог.

Вероятно, какой-то из захаровских тестов на начальной стадии я прошел, поэтому приглашение завхоза в нашу компанию означало следующее: «Новиков – парень нормальный, поддержку даем. Из общей массы выделить, возникающие вопросы решить. Объяснить более подробно отрядную жизнь и особенности всех обитателей барака. В рамках дозволенного, разумеется. В общем, Лысый, пошевели рогами».

– Завтра утром отрядник придет с тобой беседовать, – перешел, как мне показалось, к основному вопросу Захар, – он так собой мужик ничего, но на лезть, правда, падкий, сучара, и к мелочам любит цепляться – шконарь, заправка койки, форма одежды и прочая мудня. Ты ему не груби. Да-а... Во всем соглашайся. Он будет про семью спрашивать, как иск погашать будешь. Признаешь вину – не признаешь вину? В общем, скажи так и так, мол, с Захаром разговор был. От работы не отказываюсь. Остальное со временем осознаю.

– Ну, ты сейчас, бля буду, человека на стахановский путь настроишь, хе-хе, – вмешался Петруха. – «Ударным трудом, примерным поведением и явкой с повинной на нераскрытую делюгу искуплю, в натуре, гражданин начальник!..»

– Во, бля, чешет, га-га! Как по заученному. На каждой встрече с начальником все шесть лет, поди, это повторяешь? Не-е, я же говорю, Санек, тут каждый второй – пересижанный. А каждый третий – кумовская рожа! Га-гага!.. – заржал Захар.

– У тебя, Захар, образование – три класса церковноприходской. А у человека – институт. А ты сидишь тут ему втираешь, что говорить и как говорить. Твой Грибанов – тоже три класса образования. Он до того, как отрядником стать, на гидролизном заводе не то бульдозеристом был, не то еще каким хуйлом. У него на морде солидол, бля буду, до сих пор намазан, хе-хе!..

– Да хули – институт! Институт... Здесь, Санек, другой институт. И педагоги, бля, другие. Здесь педагог – Грибанов. Завкафедрой – Дюжев. А академик – Нижников!

– А ты тогда кто? – ядовито вставил Петруха.

– А я... Я, бля, лабораторные работы преподаю, а-га-га!.. – загоготал Захар.

– Ну, ладно, хорош базарить, давай поедим, что там бог послал.

Поели. Петруха с Захаром отпускали остроты в адрес друг друга. Иногда цепляли Лысого, который лениво и незлобно откусывался. В общем, как говорится, ужин удался. Захар допил чай, закурил, откинулся на стену и произнес совсем не в тему:

– У тебя на воле-то погоняло какое было?

– Да не было. Так, по фамилии, если звали иногда – «Новик»... Так же, как тебя – «Захар». А с чего ты спросил?

– Так просто. Чтоб новое не выдумывать, хе-хе...

– А ты, бля, Дюжеву заявление напиши, так, мол, и так, не могу придумать осужденному Новикову кликуху. Помогите, в натуре, гражданин начальник, пересидел, мол, мозги у меня хуево работают! А в конце еще напиши: «В связи с хуевыми мозгами прошу дать разрешение на внеочередной ларек...», га-га-га! – поддержал по-своему Петруха.

– То-то я смотрю, у тебя кликуха не по фамилии – «Петруха». Писал разрешение на кликуху Дюжеву? Писал, сучара... га-га! Атак был бы – «Мулицей», – ответил Захар и, повернувшись ко мне, пояснил: «У него Мулицев фамилия». А что, было бы не хуево – «Мулица». А-га-га!..

– А ты – «Захаровна»? Бабушка пересиженная, с высшим кумовским образованием, га-га!

«Бойкие ребята, – подумалось мне, – у них тут все не так плохо».

– Так вот, – продолжал Захар, – отвлекись малость. Отрядник в зоне – первый человек. Хозяин все с его слов делает. Отрядник рапорт написал – начальник пишет постановление. Для начала – ларек. Потом пять суток с выводом. Дальше, если не понял, – пять или десять суток, но уже без вывода.

– А чем без вывода хуже? – спросил я.

– Чем? Без вывода – это значит все десять суток чалишься в камере на одной баланде и пайке. Там клопов и вшей столько, что этой пайкой одних только их не прокормишь. А надо, бля, еще и самому пожрать. Подогрева там нет. Может быть, конечно, подогреют, если с завхозом изолятора каны наладишь. Меня бы, допустим, подогрели. Ну, так я отбарабанил уже червонец. И завхозов этих пережил на своем веку воз и маленькую тележку. Да меня и хуй посадят! Кто план делать будет? Хозяин никогда из-за плана на такое не пойдет. А тебе, Санек, не дай бог туда угодить – придется чалиться на паечке, да-а... А если с отрядником будет все путем – то и ларек лишний, и свиданка внеочередная. Свиданка – это до хуя делов! Здесь за это и в СПП вступают, и оперчасть информируют. С проверки идут строем мимо почтового ящика, что на клубе висит, – раз! – и письмишко в ящик, с понтом, домой. А там внутри ксива старшему куму, Шемету. На конверте адрес домашний, фамилия родственников, а внутри – ксива в оперчасть.

– И дойдет? – спросил я.

– Ты что, не знаешь? Или уже интересуешься, га-га? Письма же вскрываются. Все идут через цензуру, – удивился Захар. – Там, если что-то поблазнит, – вычеркивают тушью. А если начнешь писать про администрацию или про беспредел – такие письма гасят в помойном ведре. А тебя – к Дюжеву или к Шемету. И – на учет, как жалобщика. А это – шило! – добавил он и ткнул двумя пальцами в шею в области гланд.

– Ты, в натуре, человеку лекцию читаешь по кумовской подготовке и тайным засосам с оперчастью, хе-хе! Биографию свою, бля буду, рассказываешь? Есть маза, что ты сам этот ящик и вскрываешь! Га-га!.. – не унимался Петруха.

– Да-а! Забелся я из него твои малявы выкидывать! Одно и то же в них: «Гражданин начальник, довожу до вашего сведения, бригадиру Захарову завезли на зону надувного пидараса». А-га-га!.. Про сало и колбасу уже никто не читает, а-га-га!..

– Я же говорю, Санек, что он еще до Дюжева этот ящик вскрывает! Ты видишь, куда ты попал? Хе-хе... Захар – старая кумовка!

Петруха закурил сигарету и вышел, следом за ним – все остальные. Мы с Захаром остались вдвоем.

– Петруха – мой близкий. Поэтому ты не обращай внимания на наш базар. Это мы меж собой так. Остальным не положено. У меня, честно говоря, разговор с Грибановым про тебя был не очень хороший. Он мне уши тер целый час, что, мол, у тебя иск большой, поэтому только на прямые работы. Что вину, мол, не признаешь, поэтому надо тебя прессануть, место потяжелее дать и прочая херь. Но я в бригаде сам все решаю. Нет, к отряднику, конечно, прислушиваюсь, но в основном все решаю сам. Если что, то через хозяина. Завтра я тебе выходной дал, в жилзоне останешься, отдыхай. Лысый тоже в курсе. Видишь, и место у тебя козырное, и шнырь на швабре ездит, хе-хе. Первое время он с продуктами поможет. Если деньги есть, дашь ему, он все закажет. А на производстве, если грев завезти надо или что-то загнать в зону, –

обращайся ко мне. Только не лезь с этим делом ни к кому. Сдадут влет. Кумовья все отберут и в изолятор посадят. А вечером подходи, с нами будешь ужинать.

На этом разговор закончился.

Утро наступило быстро, и о его начале возвестила через весь барак глотка Лысого:

– А ну, давай, подъем!..

Как обычно оглядев «курятник», он проорал в дополнение:

– Давай шевелись, крысы! Хорош кумарить!.. Быстро на завтрак строиться!

Муравейник ожил. Барак наполнился людьми. Все старались как можно быстрее одеться и вырваться на улицу из этой духоты и портяночного смрада. Кто-то на ходу разминал сигарету, кто-то тащил банку с кипятильником. Гвалт, суета, толкотня...

Через несколько минут все стихло. Кроме меня и Собинова осталось еще несколько человек.

– А это что, тоже блатные, хе-хе? – спросил он заспанным голосом. – Как вчера с Захаром поговорил? Что эта рыбина сказала? – тихо приговаривал Толя, закидывая постель одеялом.

– Та-а-к... Все вышли? – просунулся в барак шнырь и побежал, считая людей, по проходу: «Раз... два... три... Новиков, Собинов, на завтрак можете не ходить... Эти пришли из ночной... Вроде все... Можно идти!»

Отряд построился и пошел в столовую. Опять подлетел шнырь:

– Ваш хлеб принесут, я сказал заготовщику. Он на тумбочку положит. А если хотите, сходите на завтрак, каши хряпните. Заодно место свое забейте. За вторым столом ваше. За первым – Захар, Петруха, старшаки евоновые. Они на завтрак не ходят, но за их стол никто не садится. Здесь так положено.

Шнырь убежал.

– Масть охуенная! Первый стол... Второй стол... На воле, блядь, бычки собирали. А тут первый стол... – проворчал Толя.

– Да они и здесь кое-кто кашу жрали руками прямо из флотки. Мустафа мне кой про кого рассказывал. Да и по ромам некоторым видно, – жестом изобразил я лысину и длинный буратинный нос, указывающие на портретное сходство с Крамаренко.

– Да, сейчас-то крыса отъелась. Раньше, бля, поди, в сапогах пряталась, а сейчас морда не пролезает...

– Да нет, он, по-моему с карантина – в СПП. И завхоз по национальности.

Мы тихо заржали.

– Сегодня у нас, Толя, выходной.

– Есть маза – последний, – мрачно улыбаясь, согласился он.

И мы пошли курить во двор.

Через полчаса в открытые ворота, грохоча сапогами, ввалился беспорядочный строй. Последним притащился заготовщик с большим свертком в руках. Заскочил в завхозовскую каптерку, выложил что-то из принесенного и пошел по проходам разносить оставшиеся несколько паек. Наши и чьи-то еще.

Все вокруг опять зашумело, затопало. Замелькали кипятильники, зазвякали банки. Наступала вторая часть завтрака. Целая сотня народу ухитрялась на такой маленькой площади за считанные минуты поесть, собраться, одеться и выскочить через кишашие проходы на улицу, выкурить на двоих, на троих одну сигарету, построиться и двинуться на вахту.

– Стройся на работу! – крикнул во дворе шнырь. – Стройся, быстро!..

Из каптерки выполз Крамаренко.

– Иди, буди Захара с Петрухой, – тихо, по-домашнему сказал он шнырю. Тот на цыпочках пошел в дальний угол.

– Захар... Володя... вставай. Петруха... вставай.

– Да слышу, хули ты мне тут на ухо шепчешь. Привык Лысому шептать, га-га!.. – поднялся Захар. – Петруха, подъем!

– Ты, блядь буду, как на заготовку спешишь... Черпак, в натуре, вижу, вон, из-под подушки торчит! Хе-хе... – проснулся Петруха.

Они еще над чем-то посмеялись и стали собираться.

Через несколько минут все ушли. До проверки оставался час.

Просыпаться рано я уже привык – в следственном изоляторе подъем в шесть утра. Включается встроенный в нишу над дверью репродуктор, звучит гимн Советского Союза. Дальше какие-то новости с героическим уклоном. После них – утренняя гимнастика, под рояль. «... Встаньте прямо... вдохните... глубже... достаньте руками носки...» Особо диковинно это слушается, когда полкамеры сидит на шконарях с «козьими ножками» в руках и дышит газетой, набитой самосадам, который глубже уже не вдыхается. «...Начинаем бег на месте... выше ногу... выше голову...» Конечно на месте. Куда отсюда убежишь?

С тех пор у меня аллергическое восприятие всех этих процедур под аккомпанемент рояля. Как это ни смешно, но утренняя гимнастика, только заслышу ее звуки, ассоциируется у меня не с волей и здоровьем, а с тюремной камерой и ядовитым махорочным дымом. А вот гимн – только с подъемом и пробуждением. И никогда – с тюрьмой. Потому что музыка гимна – гениальная. Потому она выше всех тюрем и клеток, выше всех горестей и напастей, несмотря на то что написана во времена, когда вся страна была одной большой тюрьмой.

– Подъем! На проверку!..

Начали шевелиться и подниматься те, что не ушли с утренней сменой. Работа на разделке шла круглосуточно, поэтому второй и третьей смене позволялось спать до проверки, а после нее – до полудня. Потом – на обед. После обеда строиться – и на работу. С точки зрения бытовых условий эти смены были очень неудобны – они несколько раз в день попадали под различные «подъемы» и «построения». С другой стороны, ночью на бирже поменьше всякого начальства, можно чего-то раздобыть. С шоферами легче и незаметнее договориться. Да и приготовить в тепляке у кого-нибудь из земляков что-нибудь поесть. Ночь есть ночь. Все основное и важное в тюрьме делается ночью. Как и все запрещенное и наказуемое.

– Выходи строиться!

Народу во дворе собралось вдвое меньше, чем рано утром. Петухи уже построились, мужики прохаживались неподалеку, курили. Открыли ворота.

По лестнице послышался стук сапог с набойками и голос Лысого:

– Выходим, выходим!

Мы с Толей пошли в конце строя, где его, собственно, нет – общая кучка, беспорядочно собравшаяся по устоявшейся традиции. Отряд за отрядом уже шагали на плац. В какой-то просвет между этими толпами вклинились и мы своей оравой. Слева по-офицерски, на два шага выйдя из строя, шел Лысый, постоянно покрикивая:

– Так, подровнялись!.. Подровнялись!

Петухи шагали стройно и в ногу. Дальше – нестройно, но почти в ногу – черти. Еще ближе к концу – нестройно и не в ногу – мужики. В самом конце – «иду, как идет, хуй укажешь!» – блатные. В этой компании мы с Толей старались ни в чем не отставать и ничем от коллектива не отличаться. Мустафа намедни подогнал мне черную телогрейку и свою фуражку. Сапоги выдал завхоз. Короче говоря, одет я был в черный цвет и в стиле «ништjak, Санек!». Сапоги, правда, были кирзовые, обычные зоновские, страшноватые, но на первое время годились. Мустафа обещал в ближайшее время раздобыть офицерские, хромовые. Впоследствии, когда я, наконец, заполучил их, радовался им больше, чем лакированным штиблетам на воле. Это было еще одним доказательством того, что все ценности в мире – относительны. Собственно, как и вкусы.

Первым в строю шагал одноухий длиннючий опущенный по кличке Чуча. Одет он был в зачуханнейшую телугу и такую же пидорку. Кроме всего прочего, он был от природы лопухим,

а потому единственное ухо торчало и оттопыривалось от головы так, будто бы его неудачно пришили. Цвета оно было фиолетового, что свидетельствовало о мерах воздействия и воспитания, применяемых завхозом и шнырем. По его торчащей голове можно было ориентироваться, где начало нашего отряда и конец отряда, впереди идущего. Смешаться этим двум строям было невозможно. В конце впереди идущего шли такие же ребята, как и в конце нашего – в черных телогрейках, с четками в руках, с более развитой мускулатурой и более свободной речью. Так что дистанция при строевом хождении в лагере соблюдалась естественным способом, несмотря ни на какие толчки и напирание сзади. Если она сокращалась до двух-трех метров, последний ряд идущего впереди строя оборачивался, и следовала если не оплеуха, то примерно такая речь: «Ты куда, крыса дырявая, летишь? У тебя что, животное, диоптрии не наводятся?!»

После этого дистанция быстро восстанавливалась. Если же отряд отставал и образовывалось большое пустое пространство, раздавался голос Лысого:

– А ну, живность, подтянулась быстро! Давай, шевели гребнями! Кашей, что ль, опоролись?!

И строй начинал шагать быстрее, несмотря на ритм, задаваемый духовым оркестром.

На плац вырулили лихо и остановились прямо напротив штабного крыльца. Того самого крыльца, на котором курили, ожидая распределения. Все отряды стояли лицом в его сторону. Кажется, их было восемнадцать.

Ждали начальство. В стороне молча переминался с ноги на ногу духовой оркестр. Выглядел он весьма импозантно.

Огромный доисторический полковой барабан, стоящий прямо на дощатом полу плаца. По нему колошматил чертоватого вида парень в синей, грязной телогрейке. Баритон и труба. Ржаво-латунного цвета, гофрированные, будто жеванные. Дули в них примерно такие же, как и барабанщик. Фальшиво и очень громко. Grimасы на их лицах были тоже примерно одинаковые – как и музыка, многострадальные.

Казалось, что у последних двух висят сопли, а сами они не играют, а сморкаются. В общем, оркестр был в образе.

Наконец на крыльцо, рассекая животом окружающую среду, нехотя выполз Дюжев. Нарядчики со счетными досками побежали сверять количество, считая народ «четверками». Пересчитывали по несколько раз, что-то помечая карандашом на дощечке. После этого бежали докладывать стоящему перед строем майору с повязкой «ДПНК».

Когда все сошлось, грянул оркестр, и отряды в обратном порядке двинулись по баракам.

– Ну, как играют? нормально, нет? – с ехидцей спросил меня Лысый. – В такой оркестр пошел бы, хе-хе?

– Без слез не глянешь, – в тон ответил я.

– Они, вот, черти чертями, а от работы освобождены. Числятся где-то в хозобслуге. Кто в бане, кто у коменданта на побегушках. Их бы, блядей, на разделку загнать, во они бы тогда заиграли! Га-га!.. – пояснил Лысый.

Ввалились во двор. Все пошли врассыпную, кто курить, кто варить, кто просто слоняться или спать.

– Письмишко, что ли, домой написать? – зевнул Толя. – Сейчас можно – пиши сколько хочешь. Писать только нечего.

– Сочиняй, напрягай фантазию, – сказал я.

– Сочинять тоже надо умеючи. Напишешь не то – к операм потащат.

– А ты пиши – «то». Мол, дорогие родственники! Здесь очень хорошо. Кормят нас как на убой...

– Нет, на «убой» – нельзя. Подумают еще, что мочить кого-то собрался, хе-хе...

– Ну, тогда так: «Дорогие родственники! Приехали на место. Погода очень хорошая. Поезд попался мягкий, вагон теплый. Начальники здесь добрые и образованные. Особенно подполковник Дюжев...»

– «Дюжев» – вычеркнут.

– Ну и пусть. Зато хоть постебаемся. «Работа здесь не трудная. Ударным трудом буду искупать свою вину, досрочно гасить иск... Очень хочу вступить в СПП... Это что-то вроде комсомола, только еще лучше, и к тому же выдают повязку. За это здесь всех, кто вступил, хвалят...»

– Вот это да! Давай быстрее бумагу, пока текст не забыл, ха-ха!..

Мы докурили, посмеялись и пошли спать до обеда.

Уснуть оказалось не так-то просто. По бараку все время сновали люди. Шнырь носился по проходам со шваброй, вытирая пыль под кроватями. Хлопали форточки, ведра. Я накрылся телогрейкой с головой, и мысли опять полетели за забор. К дому, к знакомым, к друзьям и недругам. Ко всему, что осталось там, где не был уже почти два года. Неполных два... А впереди еще целых восемь. Куда и к кому она будет летать, эта память, через пять? Через семь? И к кому возвращаться придется через десять?

Поймал себя на мысли, что нигде так не мечтается, как в темном холодном карцере, полном крыс, таких же голодных и ожесточенных. Или на шконаре, накрывшись с головой телогрейкой, налегая одним ухом на подушку и закрывая другое закинута за голову рукой. Удивительно, но вспоминается только хорошее, только самое светлое и радостное. Даже то, что когда-то по ту сторону забора злило и не давало покоя, здесь улеглось и показалось пустыми хлопотами. Лежа под этой самой телогрейкой, понимаешь, что тихо грубеешь, черствеешь, а то и попросту звереешь. Жизнь поменяла краски и правила игры. Хочешь или не хочешь, тебе теперь придется находить в этих новых красках радужные и светлые. И играть по новым правилам. В незнакомую и страшную игру с писаными или неписаными законами, длина которой – срок. А на кону – жизнь. Даже если ты уверен, что выиграешь. Но – время... Впустую уходит время. Тебе сегодня тридцать три года. Возраст Христа. Символично, но что это меняет? Выйдешь – будет сорок три. Это чей возраст? Взрослого мужика, у которого все конфисковали, все отняли. И нет ни кола, ни двора. Свободу отняли – это на время. Десять лет – это навсегда. Единственное, чего не смогли отнять – возможность думать. Вот и думаешь, думаешь... И все больше почему-то о прошлом. О сегодняшнем думать не хочется. Или потому, что оно еще – не прошлое? Будет и оно прошлым. Но каким оно будет, зависит... От чего оно зависит?

– Новиков! К отряднику! – прервал мои мысли голос Лысого.

Глава 6. Отрядник

Начальник отряда капитан Грибанов встретил меня сидя за столом, уткнувшись в какие-то бумаги. На мое «здравствуйте» он откинулся на спинку кресла, скосил голову набок и после недолгой паузы без всякого приветствия изрек:

– Почему входите не как положено? Почему обращаетесь не по форме?

– А как нужно?

– Как нужно? «Осужденный Новиков по вашему вызову прибыл». Что, не учили в СИЗО?

Выйдите и зайдите как положено.

– Выходить я никуда не буду. Я не в детском саду.

– Чего? Я не понял, что сказал? Что за тон?

Он свел брови к переносице и, кажется, опешил от такого начала разговора. Его синие глазки вцепились в меня. Он медленно оторвался от спинки и навалился грудью на стол.

– Не надо борзеть. Здесь борзым гривы быстро укорачивают, – не отрывая взгляда, пробашил он, насколько позволяла глотка, нашаривая на столе пачку сигарет.

«Хорошенькое начало, – подумал я. – Этот – настоящий идиот. Да еще и самодур, пожалуй. Но другого не дадут, жить придется рядом с этим. Надо как-то искать общий язык».

– Крамаренко! Завхоз! – крикнул он.

Лысый влетел, не прошло и секунды. Все это время он или стоял за дверью, или прогуливался по коридору.

По его удивленному взгляду я понял, что и он не ожидал застать меня, стоящим возле двери с фуражкой в руках.

– Да, гражданин капитан, слушаю вас, – подчеркнуто, как бывалый служака, прочеканил он.

В глазах «гражданина капитана» сверкнул довольный огонек. Вот, полюбуйся, мол, Крамаренко, кем бы ты на воле ни был, а у меня здесь свой порядок: я сижу, а Новиков как миленький стоит у двери. И будет там стоять сколько надо.

Лысый не слышал нашего разговора, поэтому в его глазах картина так и выглядела: сидит вальяжный Грибанов, а перед ним смиренный Новиков теревит в руках фуражку. Картина и впрямь довольно позорная. И я попер внаглую:

– Может, вы все-таки разрешите присесть, гражданин начальник, а то мне как-то неудобно на вас сверху вниз смотреть.

Слова «на вас сверху вниз» подействовали на него как укусы гадюки.

– Разрешаю.

– Благодарю.

Я придвинул стул и сел напротив.

– Крамар, – панибратски обратился он к Лысому, – в какой проход его определил?

– В третий, гражданин капитан.

– В третий? В третий рано. В шестой надо. А лучше в десятый.

– Дак Захар сказал...

– Захар? А он у меня спросил, твой Захар? Так... Потом зайдешь, поговорим на эту тему.

– Понял. Сделаем, как скажете, гражданин начальник, – пробормотал он и смылся.

Тюрьма не только отнимает и заставляет. Она еще и учит. Где-то я читал, что маленький ребенок, попавший в беду, за несколько дней взрослеет на целые годы. И даже находит выход из ситуации, из которой не каждый взрослый его найдет. Экстремальная ситуация будит в человеке вместе с инстинктами и неведомые способности. По самым мелким и незаметным признакам человек улавливает приближение беды. Предчувствует ее, расставляет все возможные беды по полочкам, выбирая из всех – главную. От которой надо спастись и защищаться. С

которой надо справляться. Определять, из чего или от кого она исходит. Если эта беда – землетрясение, – предчувствовать и предвидеть его по тревожному бегству змей, лягушек, кошек и прочей живности. Если эта беда – огонь, – по едва уловимому запаху гари. По отсветам пламени, в конце концов. Если эта беда – человек, – то по тысячам мелочей, которым чаще всего нет объяснения. Эти мелочи видит и понимает только одна часть души – интуиция. Чем дальше она видит, чем острее ее зрение, тем больше шансов. Она и только она просыпается раньше всех и весь свой опыт пускает на защиту.

Тюрьма сама по себе – не беда. И опасности сама по себе не представляет. Главная опасность в тюрьме – человек. Он неповторим, а потому и опасности исходят от него разные. А потому в тюрьме есть только одна весталка – интуиция.

Я глядел на сигаретную пачку, которой поигрывал мой новый начальник, проводя со мной «ознакомительную беседу». До слуха моего долетали обрывки его дежурных фраз и наставлений, которые он вбивал в мозги каждому вновь прибывшему. Я пытался по этим фразам, этим жестам, этой мимике понять, что он за человек, чего от него ждать и в какой момент. Это нужно было сделать сейчас и быстро. Беседы не получалось. Говорил пока только один он. Говорил о том, что работа здесь – родная мать, и что от этой самой матери зависит вся моя судьба. В общем, все как в передовицах «Козьего Знамени», которое мы уже читали в коридоре штаба.

Через полчаса некий портрет его начал вырисовываться и выглядел примерно так.

В общих чертах – идиот. Падок на лесть. Склонен к самодурству. По натуре не очень злой. Больше старается таковым казаться. Любит показать, как все ему подчиняются. Безынициативен – во всем выполняет только распоряжения вышестоящего начальства. Исполнитель. Не слишком образован. Не слишком грамотен. Очень доволен собой. Прямых конфликтов избегает – боится выносить сор из избы. Трусоват. Не в меру любопытен. По совокупности упомянутых качеств создает впечатление идиота средней руки.

«Для начала портрет неплохой, – подумал я уже несколько веселее. – Будем искать общий язык».

Возникла пауза, и я начал:

– Бросил было уже курить, гражданин начальник, но вот от нашего разговора что-то разволновался... Мне показалось вначале, что вы тоже не курите.

– Кури, кури... А с чего ты так решил?

– Да у вас вид такой спортивный, – ударил я тупой лестью в самую толстую струну его «самосознания».

– Да-а. Занимаюсь иногда. Я считаю, раз форму одел, надо держать себя в форме, – выпалил он, довольный своей остротой, состроив брови домиком. Любую мысль, показавшуюся ему умной, он неизменно сопровождал этим мимическим упражнением.

Быстро потушив сигарету, он продолжил, интересно переводя спортивную тему к вопросу о погашении иска:

– Здесь на спорт времени нет. Здесь спорт – это работа. Работа тяжелая, прямо скажу. Но на свежем воздухе... Хвоя... Хвойные породы в основном. Оплата сдельная – зависит от выполнения плана. Деньги идут на карточку, а там уже вычитают. Если алименты или иск... Иск у тебя ведь большой? Сто шестьдесят шесть тысяч, кажется, так?

– Так.

– В сто первой бригаде самые высокие заработки. Рублей шестьдесят в месяц бывает. Летом – на сплаве работают. Тоже хвойные породы...

Фразы мне показались очень знакомыми. Где-то я их уже слышал. «Вот так это дело, само дело, ебиомать... хвоя...» Да... Здесь поют с одной дудки.

Дальше заговорили о семье. О ранее судимых родственниках, которых, к его видимому огорчению, у меня не оказалось. О следствии и суде. Об общественном мнении. И здесь я, уло-

вив момент и руководствуясь составленным психологическим портретом, рассказал ему такую брехню собственного сиюминутного сочинения, что «гражданин начальник» мигом перешел в разряд разинувшего рот слушателя. Брехня была перемешана напополам с правдой. Правды было меньше, и только та правда, которую он мог знать из личного дела или приговора. Брехни было втрое больше, но он ее не знал. Поэтому все вместе производило довольно убедительное впечатление. В общем, вспомнил Остапа Бендера и начал:

– Посадили меня по личному указанию Андропова. (Андропов, правда, умер до моего ареста. Но что особенного – «дедушка умер, а дело живет!..») По указанию КГБ СССР, с подачи идеологического отдела ЦК КПСС (что, собственно, было правдой) за мной начали следить. На Западе мои песни крутили по радиостанциям (что тоже было правдой). Это вызвало раздражение и гнев соответствующих органов. Дали указание найти «за что» и посадить (тоже правда). Ельцин как первый секретарь обкома (чистая правда) пытался свести все к инциденту областного масштаба, даже пытался помочь (а вот это уже была чистая брехня), но ничего поделать не смог. Сегодня дело находится под пристальным наблюдением западных правозащитных организаций (полуправда), жена получает оттуда запросы обо мне (брехня). И поэтому в тех тюрьмах, где я сидел под следствием, начальники отвечали за меня головой (чистая брехня). Если со мной что-то случится или меня начнут прессовать, Запад поднимет шум и будет международный скандал (полуправда-полубрехня, на усмотрение слушателя). Поэтому, чтобы меня не зачислили в разряд политзаключенных, начальству в Главном Управлении (!) дали команду: ничего лишнего в отношении меня не предпринимать. В противном случае, не дай бог что случись, начнут ездить из Красного Креста, из «Международной Амнистии» (брехня в квадрате), приедут, увидят, что в этом лагере творится, и тогда раздуют такой базар, что местным начальникам придется головы поотрывать. А после этого будут ездить сюда каждый месяц иностранные наблюдатели (брехня, да еще какая). Лично я шума никакого не хочу, хочу сидеть себе тихо, погашать иск по мере возможности (брехня), чтобы выйти отсюда поскорее (чистая правда). А кроме всего, начинается перестройка (куда деваться – правда), и я имею сведения, только вам одному скажу, по секрету, что по моему делу сюда вскоре приедет целая комиссия (брехня из брехней!).

По мере моего рассказа домик из бровей гражданина капитана становился крышей своей все круче и круче. А лицо все умнее и умнее. Потом поговорили о распорядке, о рабочем графике, о самодеятельности. Между делом он достал какую-то желтую книжку, на обложке которой было напечатано: «Тетрадь индивидуальной воспитательной работы с осужденным». Повертев в руках, крупными буквами вывел в три строки мою фамилию, имя и отчество. Приклеил фотографию. Еще подумал и рядом с фотографией начертил: «Иск 166 711 руб.»

– Крамаренко!

– Я здесь, гражданин начальник...

– Так, в общем, остается в третьем проходе. Все вопросы с каптеркой реши.

– Уже решил.

– Расскажи, как написать заявление на личное свидание, на посылку из дома.

– Сделаем, гражданин капитан!

Крамаренко безошибочно определил настроение начальника. Может быть, по голосу все той же собственной интуиции. А может быть, ему хватило всего трех слов: «Остается в третьем проходе».

– Разрешите идти? – спросил я тоном встающего на путь исправления, просветленного беседой с прозорливым и умным начальником.

Брови сложились в домик.

– Идите, осужденный. Желаю успеха.

Я встал и пошел к двери. Лысый схватил со стола пепельницу полную окурков, поглядел на меня, на начальника, снова в пепельницу и выскочил следом. В этот день в желтой книжке с

моей лысой физиономией появилась первая запись. Много позже, когда я освободился, милые и добрые женщины, работницы спецчасти, в нарушение всех должностных инструкций, вытащили ее из моего личного дела и подарили мне. Низкий им поклон. Как много я мог не узнать о себе, если бы не они. Но это будет потом, не скоро. А пока, довольный беседой, я шел к своей койке делиться с Толей впечатлениями. День выдался по меркам этого края ясный. Солнце несколько раз показывалось из-за туч. Оно не грело, но оно – было. А значит, не все так мрачно и серо. Ни в небе, ни на душе. Захотелось поиграть на гитаре. Так захотелось, что ноги сами чуть не рванули в клуб. Но в клубе нет гитар. Да и что сейчас сыграешь – я не держал ее в руках уже полтора года. Нет, ничего не забыл, просто руки ее, гитару, забыли. А вместо нее завтра придется взять крючок и раскатывать по эстакаде баланы. А еще хуже того – грузить доски. Березовые шестиметровые плахи, непомерного веса, в которых заноз не пересчитать. Три человека на вагон. Шестьдесят тонн на троих за смену. Да черт с ней, с гитарой, придет время, не вечно же сидеть здесь. Пойти просто так в гости к Мустафе с Файзуллой, сегодня выходной, в конце концов. Здесь их почти не бывает. Если дадут раз в месяц – радуйся. Другим и этого не перепадет. Хотя кто его знает – это все по рассказам. Сам пока не видел, не знаю. Здесь все живут по-разному. Поэтому говорят и рассказывают те, кому плохо. Кому хорошо – молчат. Посмотрим, каково будет мне. С завтрашнего дня и посмотрим. А сейчас – к Мустафе, расскажу про идиота-начальника. Вот и поржем.

С этими мыслями я пошел предупредить Лысого, на случай, если меня хватятся или будут вызывать куда-нибудь, что я в клубе.

– Отрядник сказал, что тебе ходить по зоне запрещено. Хозяин запретил. Но иди, если хочешь... Если что – я тебя не отпускал.

– Понимаю. Если будут искать – пошли кого-нибудь за мной.

В ответ Лысый только ухмыльнулся и молча покачал головой.

Файзуллы на месте не было. Как оказалось, он ушел на производство забирать заготовки для шкатулок и подносов, которые он резал в прेमном числе. На производстве, в промзоне, был отдельный цех по изготовлению ширпотреба. Одно из самых теплых и доходных мест в зоне. Делал цех то же самое, что и Файзулла, но в более примитивном виде и не такого высокого художественного достоинства. Файзулла был Фаберже местного пошиба. Всем комиссиям, посетившим колонию – от образовательной до прокурорской, в штабе дарили памятные сувениры. Тем, что поплоче – деревянные наборы цехового производства. Комиссиям позубастее – изделия от Файзуллы.

Художка была заперта, а из-за соседней двери, что вела в библиотеку, доносились голоса.

Я толкнул дверь и вошел. В первом небольшом кабинете за столом в тельняшке навыпуск сидел Мустафа. Напротив него стоял какой-то парень.

– О, привет! – обрадовался Мустафа. – Подожди в соседней, книжку возьми, если хочешь, почитай. Сейчас с этим вот закончу...

Я прошел в соседнее помещение. Это, собственно, и была библиотека. Рядами стояли стеллажи с книгами. Как в самой что ни есть городской библиотеке, только гораздо меньшего размера. Книги были большей частью новые, в очень хорошем состоянии. В глубине помещения стоял топчан, выполняющий функцию дивана и кровати. Взяв первую попавшуюся книгу, я присел на него и начал листать. Из кабинета отчетливо слышались голоса Мустафы и пришедшего. Последний говорил с сильным украинским акцентом, гыкая, окая и растягивая слова. Диалог был интереснейший.

– Та-а-к... Как твоя фамилия, говоришь?

– Павлюченко.

– Хохол?! – радостно спросил Мустафа.

– Та чистокровный! Вжель так нэ видно?

– Конечно, видно. Еще как видно. А книги-то тебе надо, или завхоз послал?

- Та нэ, нэ завхоз. Для сэбе.
 - А у меня на хохляцком языке книг нэмае. В СПП состоишь?
 - Состою. Кабы ж не состоял, так до быбливотеки не отпустили б.
 - По жизни кто?
 - Мужик... Нормальный. А шо?
 - А шо? – передразнил Мустафа, – а шо? Нет, ты посмотри, бля, – мужик! В СПП состоит!
- Сам – хохол! По-русски – еле-еле ботает... На заготовку ходишь? А?! – рявкнул он, и тельняшка начала медленно подниматься над столом.
- Зашедший книголюб попятился к двери.
- Ну ладно, Марат... я в следующий раз...
 - Куда?! Какой следующий раз?! – Мустафа схватил читателя одной рукой за горло, другой дал по печени, под дых. Тот вырвался и бросился бежать.
 - Куда?! Стоять! Я тебя еще не записал! Сейчас, блядь, запишу, тогда пойдешь!
- После каждого слова он осыпал его ударами по «требухе».
- Ни один хохол еще не вернул книгу в нормальном состоянии! Все хохлы – пидарасы!..
- Говори, сука, будешь ходить в библиотеку, а, сэпэпэшное хуйло?! Заготовная крыса! А?! – выкрикивал он, продолжая бить.
- Не-е... Никогда... Марат!.. Никогда больше нэ приду!
 - И скажи всем своим хохлам, за то, что книги мне в прошлый раз покоцали, поубиваю козлов, если хоть один еще придет!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.